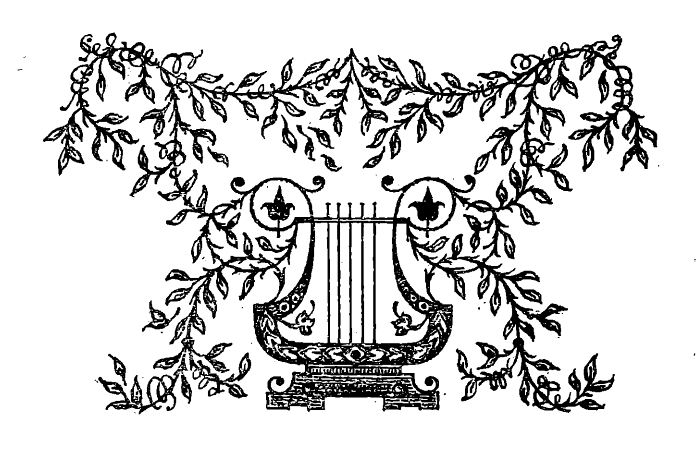
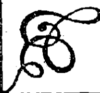


Евгений
Баратынский

Москва
издательство
«Правда»
1983

„И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я".





ЕВГЕНИЙ БАРАТЫНСКИЙ

Стихотворения

Проза

Письма




84 Р1
Б 24

Составление и примечания
В. А. Расстригина и А. Е. Тархова

Вступительная статья
С. Г. Бочарова

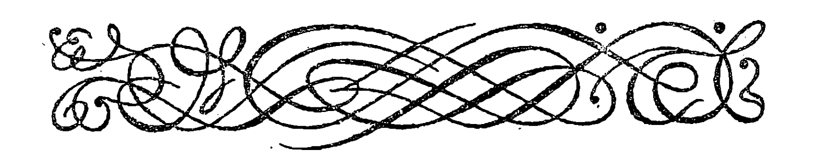
Баратынский Е. А.

Б 24 Стихотворения. Проза. Письма / Сост. и прим. В. А. Расстригина, А. Е. Тархова; Вступ. ст. С. Г. Бочарова.— М.: Правда, 1983.— 352 с.

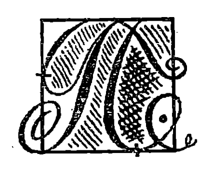
В настоящий сборник вошли стихотворения, проза и письма Е. А. Баратынского (1800—1844)— одного из крупнейших представителей русской поэзии.

На обложке: Е. Баратынский в начале 1840-х годов. Портрет (масло) написан, вероятно, художником Эллерсом, который был учителем рисования у детей поэта. Это единственный в своем роде портрет «позднего Баратынского», дающий представление об облике поэта в зрелые годы его жизни.
Портрет хранится в музее-усадьбе Мураново.

Б $\frac{4702010100 - 418}{080(02) - 83}$ 418 — 83 84 Р1



«ПОЭЗИЯ ТАИНСТВЕННЫХ СКОРБЕЙ»



одобно другим поэтам, Баратынский создал образ своей Музы, оставил нам ее портрет. Но странная особенность отличает этот портрет: в стихотворении «Муза» главным образом говорится о том, на кого не походит Муза поэта и каких черт она не имеет. «Не ослеплен я Музою моею: Красавицей ее не назовут...» Присмотревшись к тексту стихотворения, мы замечаем, что слова отрицания — «не», «ни», «нет»— господствуют в нем. В тени этих слов словно таится героиня стихотворения —«как дева юная темна для невнимательного света». Когда же свету «мельком» откроется ее истинный лик, то и он определяется «отрицательно», по признаку неподобия: лица необщее выраженье. Несколько странное, само по себе «необщее» слово; однако мы встретим у Баратынского и еще более необычные слова, тоже как бы помеченные отрицательным знаком: «безвеселье долгих дней», «Храни свое неопасенье», или — из описания страны бессмертия, венчающего стихотворение «Запустение»:

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну...

«Несрочная весна» — это вечная весна, «безвеселье» — это грусть. Но ведь очевидно, что эти общие значения никак не могли бы заменить у поэта его выразительных неологизмов, что поэту как бы приходится создавать свои новые слова как самые точные, чтобы высказать ими свой смысл и выразить свой мир. Что же ими выражается? Очевидно, в этих словах важна их отрешающая, отъединяющая направленность — от какого-то всем знакомого мира и его знакомых свойств: у Баратынского этот знакомый мир называется «светом», и слово это имеет широкий диапазон значений (и современное общество, и вообще человеческая жизнь в ее обычных проявлениях, и даже шире — весь мир известного, обнаруженного, явленного, «мир явлений» как таковой). От этого «общего» выражения отъединяется мир поэта, обретая в отъединении свойство особенной сокровенности, «темной», невскрытой и непро-

явленной глубины. Об этом свойстве и говорит портрет Музы — автопортрет поэзии Баратынского. Поэт хорошо знал за собой это свойство как свое индивидуальное отличие, обособлявшее его среди «самоцветных поэтов»[1] эпохи. Ведь не только от светских красавиц (с «игрою глаз, блестящим разговором») отъединял он свою Музу, но и, например, совершенно иными красками живописал Музу высоко ценимого им Языкова. Во втором послании к Языкову он призывает друга-поэта явить ее «в достойном блеске миру». Свою же, напротив, словно утаивает, сохраняет в сокровенном состоянии, «в себе».

Иван Киреевский, замечательный мыслитель и критик, глубокий друг Баратынского («Мы с тобой товарищи умственной службы» — обратился к нему в одном из писем поэт), назвал его Музу скромной красавицей. И не один Киреевский употребил тот же самый эпитет, чтобы сказать о своеобразном впечатлении от поэзии Баратынского и дать ей «психологическую характеристику». И сам поэт этим словом определял свою позицию в мире («Отныне с рубежа на поприще гляжу — // И скромно кланяюсь прохожим»). Нужно проникнуть в этимологическую глубину этого слова — «скромный», чтобы почувствовать точность его в отношении к Баратынскому. «Скромный» связано с «кромом», огороженным внутренним местом (с ним связан и «кремль»), «укромом»: заключенный в рамки, сдержанный, ограниченный в этом смысле, но и собранный, сосредоточенный, крепкий в себе. О «скромности» в этом богатом смысле поэзии Баратынского лучше всего сказал Киреевский: как о «поэзии, сомкнутой в собственном бытии». Он писал в «Обозрении русской словесности за 1829 год» (стихотворение «Муза» появилось в свет одновременно с этой статьей): «чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, незамеченного с первого взгляда,— верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого».

Замечательное слово — д о с л ы ш а т ь — передает то усилие вникания, проникновения, которого ждет от читателя эта поэзия. Интересно, что к слову с такой же направленностью прибегает и Вяземский, но уже передавая впечатление от живой человеческой личности поэта; и в нее надо было «проникнуть», ее «раскусить»: «Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать, буровить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю, Но за то попытка и труд бывали богато вознаграждаемы». Первые же свои впечатления вскоре после знакомства с поэтом Вяземский так передавал Пушкину (письмо от 10 мая 1826 г.): «Я сердечно полюбил и уважил Баратынского. Чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет. В нем, кроме дарования, и основа плотная и прекрасная».

Говоря о «скромном» лице поэзии Баратынского, мы, конечно, вспоминаем:

Мой дар убог и голос мой не громок...

[1] Так назвал Гоголь поэтов — современников Пушкина.

Прислушаемся к этой речи: к кому она обращена, кому говорится? Кому-то близкому: оттого и голос не громок. Может быть, «другу в поколеньи», о котором здесь же сказано? — но о нем поэт говорит отстраненно, как будто издалека: «к о м у - н и б у д ь любезно бытие». Скорее это речь к себе самому. Я отдаю себе отчет, уясняю свое положение: такова интонация этой сосредоточенной речи. Но в то же время эта уединенная, как бы во внутреннем мире поэта звучащая речь «глядит» в далекое будущее («не в меди глядясь, а в грядущем» — подобно Алкивиаду в более позднем стихотворении Баратынского), больше того — «звучит» для него. Оттого и мог почти сто лет спустя другой поэт — Осип Мандельштам — воспринять стихотворение как п и с ь м о — н е и з в е с т н о м у будущему читателю, «провиденциальному собеседнику», а значит, лично ему, поэту другой эпохи. В статье «О собеседнике» 1913 г. Мандельштам нашел выразительный образ: письмо, запечатанное в бутылке, брошенной в море. «Читая стихотворение Баратынского, я испытываю то же чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией пришел ей на помощь — и помог исполнить ее предназначение... в бросании мореходом бутылки в волны и в посылке стихотворения Баратынского есть два одинаковых отчетливо выраженных момента... Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени». Ибо он себя почувствует тем «читателем в потомстве», которому обращены из глубины времени эти строки. (Вряд ли Мандельштам, когда писал это, помнил письмо Баратынского 1832 г. Киреевскому, подтверждающее убедительность найденной им метафоры: «Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления». С необитаемого острова и бросают бутылку в море.)

Итак, перед нами своего рода «Памятник» Баратынского. Какая разница с пушкинским (если возможно между ними сопоставление, а представляется, что возможно)! Прежде всего нет никакого п а м я т н и к а как зримого монументального образа своего дела, оспаривающего право на будущее у государства; нет с л а в ы, нет ни малейшего признака о д ы. Есть совпадение в очень значительном слове: «Кому-нибудь л ю б е з н о бытие...» — «И долго буду тем л ю б е з е н я народу...» (о том, как существенно это слово у Пушкина в сравнении с «Памятниками» Горация и Державина, говорил известный литературовед Л. В. Пумпянский: «у Пушкина заслуги заменяются любовью»). Однако различие так очевидно в этом совпадении. Что происходит в стихотворении Баратынского? Поэт открывает его признанием слабости своего дара — и что же противопоставляет он этому? «Но я ж и в у, и на земли мое // Кому-нибудь любезно бытие». Мое неповторимое существование, не отмеченное заслугами, которые надо бы было назвать, но как бы оправданное любовью и дружбой другого человека,— вот что передается «в моих стихах» возможному будущему читателю. У Пушкина несмертна «душа в заветной

лире», несмертна его поэзия, и мир нетленного будущего — поэтический мир: «доколь в подлунном мире // Жив будет хоть один пиит». У Баратынского в самых его «стихах» (как сниженно-прозаично это рядом с «заветной лирой») как будто важны не они, а то, что они хранят и способны («как знать?») передавать через времена — «бытие» и «душу» создателя, а в восприятии их далеким потомком важнее всего контакт, «сношенье» двух душ, человеческих существований. Поэтому обретение читателя в потомстве уподобляется встрече с другом в поколеньи. Глубоко интимное событие человеческого общения (через «стихи») — вот «памятник» Баратынского.

«Мой дар убог...» и «Муза» созданы в самом конце 1820-х годов, на повороте творческой судьбы поэта. Менялась внешняя жизнь его, менялась его поэзия. Во внешнем существовании, после постигшего его в юности потрясения и годов искупления, наступило время ровной и мирной, почти без событий, счастливой семейной жизни; однако оно же стало временем внутренних бурь и катастрофических потрясений, о которых будет рассказано в стихотворении «Осень» и которые «не передашь земному звуку»,— так что много позднее поэт напишет (в 1839 г. Плетневу): «Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющие никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения». В поэтическом развитии после ярких успехов «певца Пиров и грусти томной», «нашего первого элегического поэта» (Пушкин) начиналась гораздо более драматическая эпоха окончательной зрелости и углубления творчества, сопровождавшихся все растущим разладом с миром слушателей и читателей. На этом переходе и созданы два стихотворения, в которых поэт сознает себя, отдает себе ясный отчет в особенности своей поэзии и своем положении в современности, заглядывает в далекое будущее («памятник») и предвидит будущее близкое, даже как бы его «программирует»: так, в «Музе» заранее описана картина будущего появления и встречи в «свете» сокровенной книги поэта «Сумерки» (1842). Вот свидетельство самого влиятельного критика 40-х годов — Белинского: «Давно ли каждое новое стихотворение г. Баратынского, явившееся в альманахе, возбуждало внимание публики, толки и споры рецензентов?.. А теперь тихо, скромно появляется книжка с последними стихотворениями того же поэта — и о ней уже не говорят и не спорят, о ней едва упомянули в каких-нибудь двух журналах, в отчете о выходе разных книг, стихотворных и прозаических...» Поистине «свет» почтил «Сумерки» небрежной похвалой скорее, чем едким осужденьем.

Тогда же, на рубеже 20—30-х годов, над поэтической судьбой Баратынского задумывался Пушкин; эта тема — главная в статье о Баратынском, начатой Пушкиным, вероятно, болдинской осенью 1830 г. Отчего «последние, более зрелые, более близкие к совершенству» произведения поэта имели в публике меньший успех? Пушкин отвечает следующей характеристикой: «Никогда не стремился он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам увлекаю-

щего свой век гения, подбирая им оброненные колосья; он шел своею дорогой один и независим». В том же году написан пушкинский сонет «Поэту»:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Всем моментам этой картины есть соответствия в пушкинских характеристиках Баратынского; очевидно, Пушкин находил в его облике нечто близкое своему идеалу поэтической независимости и «тайной свободы». Ни к кому из современников-поэтов не относился Пушкин с таким напряженным вниманием и никого не ставил так высоко: «Время ему занять степень, ему принадлежащую и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды» (Батюшкова). Но Пушкин не закончил ни одной из трех начатых им статей о Баратынском, и болдинская была последним приступом[1]. В 30-е годы упоминания Баратынского даже в пушкинской переписке становятся заметно реже, и можно думать, что новое творчество поэта не было так близко Пушкину, как Баратынский 20-х годов.

«Живи один»: многие поздние стихотворения Баратынского посвящены этому состоянию — человек остается один. Вот — «Бокал». И это стихотворение тоже вызывает воспоминание из Пушкина — «19 октября». Ситуация, кажется, та же: «Я пью один...» Но я печален от этого и воображением преодолеваю эту ситуацию — как недолжную, ненормальную; воображение вызывает друзей и населяет стихотворение их живыми образами. Баратынский, напротив, эту ситуацию патетически утверждает, создает как будто апофеозу «одинокого упоенья», сочетая парадоксально традиционно «легкую», «эпикурейскую» тему «бокала» с высокой темой «пророка»:

И один я пью отныне!
Не в людском шуму, пророк
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!

И от пушкинского пророка этот пророк разительно отличается: уши пушкинского «наполнил шум и звон». Однако прислушаемся к восклицательной интонации Баратынского — не подозрительна ли она, не парадоксальна ли сама по себе? — апофеоза явственно отдает отчаянием. А в «Осени» одинокий пир оборачивается тризной. «Живи один»: у Пушкина это «царственный» императив, у Баратынского — катастрофическая реальность. Человек глядит ей прямо в лицо, но не хочет смириться, стучится к людским сердцам и ищет «отзыва».

У каждого поэта есть особенно значимые, ключевые слова. У Баратынского в 30-е годы такое слово — **о т з ы в**.

---

[1] Баратынский прочитал ее в 1840 г., получив от Жуковского, разбиравшего после смерти Пушкина его бумаги.

И в звучных, глубоких отзывах сполна
Все дольное долу отдавший...
«На смерть Гете»

Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.
«Осень»

Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом...
«Рифма»

Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет?..
«Когда твой голос, о Поэт...»

В последних строфах «Осени» (на которых, как сообщал поэт Вяземскому, его застало известие о смерти Пушкина) дан грандиозный образ глухого космоса, безотзывного мира: «далекой вой» падения небесной звезды (традиционный символ гибели поэта) не поражает «ухо мира». Силу этого смелого образа — олицетворения мира — по-видимому, породила сила «отзыва» поэта на гибель Пушкина. Ухо мира! Образ этот дает ощутить, что в мире острее всего переживал Баратынский. Мир видится существом, внимающим человеку или глухим к нему. До вселенской метафоры укрупняется драма человеческого общения. А именно это — таинство общения — ни для кого из поэтов его эпохи, да, пожалуй, и всего XIX столетия, не было до такой степени своей темой, как для Баратынского: недаром и «памятник» свой он себе представлял как возможный (хотя и проблематичный: «как знать?») успех такого общения души с душой (поэта и неизвестного будущего читателя).

Это событие общения, осуществляющегося или, чаще у Баратынского, неудавшегося (психологическая история такой неудачи рассказана в горьких, словно отравленных, любовных элегиях 20-х годов) — основное событие лирики Баратынского. Важно почувствовать, что оно же, это событие, проступает из глубины зрелой лирики поэта, которую мы называем философской. «Скульптор» — притча о творчестве. В чем его тайна? В любовном общении творца с творением: творение открывает, являет себя лишь навстречу страстному устремлению мастера, «ответным взором» ему. Особенно важно суметь рассмотреть глубинную тему поэта в тех стихотворениях «Сумерек», где дана поэтически-утопическая картина хода истории, где речь идет о человеке, поэте, природе, прогрессе, науке, промышленном веке. «Приметы» легко свести к одному их стиху: «Но чувство презрев, он доверил уму...» Эта антитеза чаще всего из стихотворения и извлекается. Белинский сурово писал о «Приметах»: «Коротко и ясно: все наука виновата! Без нее мы жили бы не хуже ирокезов...» Однако вчитаемся, вникнем: так ли «коротко и ясно»?

Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.

Так было,

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой...

Эти культурные изобретения человечества являются как орудия пытки. Вот в чем дело, вот в чем живое событие стихотворения, несводимое к голому противопоставлению чувства уму и науке (о которой в «Последнем Поэте» поэт не забыл уточнить: «И науки, *им ослушной*...» — чему ослушной? красоте и любви). Ибо самая антитеза эта уже вторична по отношению к коллизии более глубокой: сочувственного, глубокого, истинного *общения* человека с природой, которая *для него* в порядке ответной любви обретала *язык*,— и иного к ней отношения — «чуждого», односторонне-активного, враждебного и насильственного, не предполагающего за ней своего языка.

И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

Это глубинная лирическая тема поэта — нарушенное общение,— а не его ретроградная философия. Ведь так же и Муза закрылась от «невнимательного света».

Итак — «отзыв»: отмеченное, лейтмотивное у Баратынского слово. Отзывом жив мир. А в мире свойство отзывчивости специально принадлежит поэту (с его «бессонною душой, // С душою чуткою поэта...»). Отзывом как таковым является средство поэта — рифма. Поэтому неудивительно, что она возводится в мире Баратынского в символический ранг и ей посвящается заключительное стихотворение «Сумерек»; а в продуманной композиции этой книги роль заключительного стихотворения важна и не случайна. На самом своем исходе «Сумерки» просветляются гимном рифме, уподобляемой библейскому голубю, приносившему «живую ветвь», благую весть о спасении. Рифма становится знаком спасения именно как воплощенный отзвук, отзыв мечтам и порывам поэта.

Но то, что происходит между поэтом и рифмой,— это уже заключительное звено стихотворения; большая часть его — о том, что происходит между поэтом и миром. Баратынский был убежден, что «в свете нет ничего дельнее поэзии» (из письма 1829 г. Киреевскому), и поэтому рифма поднята у него на такую высоту как знак поэтического дела. Но преданность рифме может вести к поэтической изоляции: к этой позиции Баратынский нередко склоняется, рисуя образ поэта, который «невнимаемый, довольно награжден // За *звуки звуками*», который

Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.

Но успокоиться на этом удовлетворении поэт не может, и об этом свидетельствует именно стихотворение, посвященное рифме.

С большой силой здесь сказано о том, что не только поэт нужен миру, но мир нужен поэту: нужен народный форум, народный отзыв, народный суд — без него поэт не знает, «кто он», не знает меры своих сил и своего настоящего достоинства. «Сам судия и подсудимый» — это положение поэта в современном мире чревато безвыходным и болезненным противоречием; так, «Рифма» оспаривает упомянутый выше пушкинский сонет «Поэту»: «Ты сам свой высший суд». Баратынский в «Рифме» дорожит любовию народной, но, отчаявшись в ней, уединяется с рифмой и «объясняется ей в любви» (А. В. Чичерин). Этот итог просветляет «Сумерки», однако не разрешает противоречия. Очень выразительно в стихотворении это изменение кругозора и тона: от исторического простора и гражданского пафоса мы вместе с поэтом отходим в интимный мир «одинокого упоенья» («Ты, Рифма! радуешь одна» — и трижды с акцентом повторено это «одна»). Но ведь поэт владеет и другими тонами, и негромкий голос его становится громок, когда в начале стихотворения он повествует о поэте прежних времен, певшем среди народных «валов»:

В нем вера полная в сочувствие жила:
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.

Великолепные строки эти всем своим строем выражают то, о чем рассказывают; однако стихи такого свободного и широкого дыхания у Баратынского не часты. И в «Рифме» они возникают как образ той поэзии, гармонии, какую естественно порождало единство поэта с народным форумом, сочувствие мира, но какой поэту новых времен — ему, Баратынскому — не дано. Один из мотивов лирики Баратынского — тоска по естественной легкости выражения, вольному вздоху, сердечному и поэтическому «согласному» излиянию:

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;
Вольной песнью разольется:
Скорбь-невзгода распоется!

«Разольется», «распоется» — необычные звуки у Баратынского, как необычно это стихотворение-песня («Были бури, непогоды...»). Стих его не льется и не поется, но чаще всего сосредоточенно произносится. «Направление, которое принимает его Муза, должно обратить на себя внимание критики. Редки бывают ее произведения; но всякое из них тяжко глубокою мыслию, отвечающею на важные вопросы века»,— писал в 1837 г. по поводу «Осени» С. Шевырев. Очевидно, что специфической этой «тяжестью» самобытна поэзия Баратынского. «Он у нас оригинален, ибо мыслит»,— сказал Пушкин. Поэту, однако, была тяжела эта тяжесть собственного стиха; противоречие «тяжкого» (груза, гнета) и «легкого» — частая ситуация у Баратынского, при этом «дума роковая» гнетом своим удушает «легкий дар» поэзии, поэтическое дыхание.

Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Вскоре после смерти поэта Киреевский писал в статье его памяти: «такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую тайну и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия». Такой характер взгляда на жизнь и отпечатлелся его «тяжелой лирой», если отнести к Баратынскому выражение поэта XX века, для которого традиция Баратынского имела особенное значение. Это свойство своей лиры он с сокрушением переживал как известную безблагодатность, отяжеленность поэзии «смутным» состоянием мира, которое она выражает (вспомним в «Смерти»: «Условье смутных наших дней»). «Искренний в каждом звуке», по слову Киреевского, поэт в послании Вяземскому приносил ему песнопенья,

Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви добра и красоты.

И когда мы еще раз прочитываем: «Мой дар убог и голос мой не громок...»,— мы чувствуем, что и здесь он искренен в каждом звуке. Это не те условные признания скромности и слабости своего дара, которые были так обычны в поэзии времени. Скромность Баратынского (то «выражение лица» его поэзии, которое столь многим писавшим о ней естественно захотелось назвать этим словом) — органическая и сложная, двойственная: это крепкая внутренняя сосредоточенность, «сомкнутость в собственном бытии», составляющая особенное достоинство и даже гордость этой поэзии, и это сокрушенное сознание неполноты и бедности сил, происходящее от взгляда на жизнь не шутя, то сознание, что способно было породить восклицание Недоноска:

Как мне быть? я мал и плох...

«Недоносок» — стихотворение, легкое по стиху и воистину тяжкое мыслью, стихотворение, ждущее от читателя трудного постижения. Единственный раз в своей лирике Баратынский передал голос другому «я», удивительному персонажу, которого наделил самостоятельным, хотя и фантастическим бытием: это его характеризует «необычная для авторской интонации Баратынского щемящая наивность, инфантильность интонации» (И. М. Семенко). В то же время эта «чужая речь» — чистая и проникновенная лирика Баратынского.

«Я» стихотворения — существо неопределенной природы, некий человекодух, чей образ и даже характер (в стихотворении создан его характер!) складывается из непредставимого совмещения признаков. «Недоносок» ни на что не похож и в лирике Баратынского и во всей русской поэзии. Можно было бы назвать природу этого лирического героя метафорической, ибо это метафо-

ра — но метафора олицетворенная, ставшая персонажем, лицом, существом. Это, как верно замечено, «не человек в маске, в роли духа, но действительно особое существо» (И. Л. Альми). Не человек, а дух, олицетворенный «крылатый вздох» — однако вдруг обретающий черты физического тела, которое бьет древесный лист, удушает прах летучий, и самая нематериальная легкость «вздоха» становится вдруг лишь крайней физической слабостью: «Вьет, крутит меня как пух». Не человек, а дух, но высказывающий свое состояние на языке человеческих чувств, исполненный человеческой психологии, очень душевный дух, «привязанный» к человеку всем своим внутренним строем. Но все же не человек, а особое существо — метафора, не поддающаяся простой расшифровке. Метафора человеческого сознания, той прометеевой искры, в которой принял жизнь человек, которой еще в начале пути поэт посвятил одну из ранних своих лирических медитаций («Дельвигу», 1821):

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

И неясное это стремление — память о небе — входит в состав метафоры Недоноска. Стремящееся, духовное, легкое в человеке оказывается тяжелым для неба:

И едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.

Ритму этого маятникового движения, ограниченного полета, качания «меж землей и небесами» — и соответствует легкий хорей «Недоноска». Он слишком тяжел для неба, «крылатый вздох», и слишком легок и слаб перед стихиями промежуточного пространства — и в ритмической пляске стиха непосредственно выражаются неуправляемые метания этого существа «в полях небесных».

Стихотворение названо «Недоносок» — это его основная загадка. Собственно, о недоноске речь идет в последних строках — о недоноске, которого на земле, очевидно, на миг «оживил», дал ему душу наш «бедный дух». «Отбыл он без бытия: // Роковая скоротечность!» Можно понять этого земного недоноска как мертворожденного, но, может быть, здесь говорится о роковой скоротечности человеческой жизни. Так или иначе, но несомненно, что название недоноска метафорически переносится с земного человека на самого бессмертного духа и становится символическим сгустком значений этого странного образа. Он остался невоплощенным и неприкаянным в «бессмысленной вечности», ущербным и жалким, подобно реальному недоноску: в метафорическом расширении этого слова важнее предметного его значения становится значение экспрессивное, внушающее представление о неполноценности и ущербности. «Недоносок» — стихотворение о «бедности земного бытия», ограниченной человеческой духовности, трагической промежуточности человека «меж землей и небесами».

Но чувство «бедности земного бытия» (вспомним характеристику Киреевского в ее полноте) глубоко связано с сознанием его

«высокой тайны» и «важности назначения» человека. Над прометеевой «искрой небесной», давшей жизнь человеку и ставшей в нем сознанием и творческим стремлением порывом и тревогой, «желанием счастья» и «мечтаниями свободы»,— поэт размышлял всю жизнь, и отнюдь не всегда она представала в чертах Недоноска. Она же обретала «глас» в мощных заключительных стихах стихотворения «К чему невольнику мечтания свободы?».

Нигде, вероятно, у Баратынского внутренний драматизм и конфликтность его поэтического мира не вскрываются так активно и ярко, как в этом самом «диалогическом» у поэта стихотворении. Звучат два голоса в остром споре, но очевидно, что эти два голоса не чужды друг другу, больше того — принадлежат одному сознанию и ведут в нем в н у т р е н н и й спор. Первый голос приглашает: «взгляни» — и развертывает картину миропорядка, подчиненного неукоснительной закономерности и проникнутого сплошной «неволей», предлагая и человеку «разумно» ей подчиниться. Когда мы читаем:

Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен,—

у нас сверкает в памяти пушкинское (созданное одновременно со стихотворением Баратынского) «Зачем крутится ветр в овраге...?»:

Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона,
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.

Две картины мира, словно полемизирующие одна с другой. Обе объединяют человека с природой, включают его в естественный ритм, но у Пушкина это единство в абсолютной свободе — «воле», у Баратынского — в «неволе», столь же абсолютной: ей подчеркнуто подчинен тот самый «бродячий ветр», который традиционно являлся в поэзии (у Пушкина — постоянно: «Как ветер, песнь его свободна») основной метафорой всего свободного — вольного в мире и человеке. Шестистопный ямб звучит рассудительно-уравновешенно, воссоздавая ритмически точку зрения «раба разумного»; речь, наконец, приходит к окончательному, безнадежно-успокоенному равновесию:

И будет счастлива, спокойна наша доля.

В том же году, когда, вероятно, возникло стихотворение «К чему невольнику мечтания свободы?», Баратынский писал Киреевскому, что видит «счастие в покое», а не в «пламенной деятельности». Может быть, стихотворение иллюстрирует эту жизненно выстраданную поэтом истину? Но нет — ибо эта истина в стихотворении принадлежит лишь первому голосу, смолкающему на

ней, притом смолкающему на «повисшей в воздухе рифме» (В. Кожинов), что лишает достигнутую истину окончательности и завершающей силы. Здесь и вступает новый, противоречащий голос — человек перебивает себя же поэт восстает на свою же мысль и на собственное созерцание мира (ибо видеть мир под знаком его несвободы, подчиненности всепроникающему «закону» было свойственно Баратынскому):

Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

Этот взрыв, «мятеж» приводит стихотворение к сложному и драматическому итогу. Мятежные человеческие «страсти» непокорны «общему закону» — однако сами они законны, они «высоко рождены» («Но в искре небесной прияли мы жизнь »). Глубокое, неискоренимое противоречие двух равно могучих сил в человеке становится драматическим итогом стихотворения «Жизнь» восстает на «судьбу», но последняя держит ее в узких гранях. Это мощное биение и это властное теснение прямо физически ощущаются в двух последних стихах.

В «Пироскафе», заключившем путь поэта стихотворении мы прочитаем «Много мятежных решил я вопросов...». «Строгий и сумрачный поэт», как назвал его Гоголь, Баратынский решал мятежные вопросы и был мятежным поэтом. «Бытия мятежным голосам» он внимал и на них откликался. «К чему невольнику мечтания свободы?» нам говорит, какой силы был этот отклик В противоречащем голосе страсти поэту здесь слышен «глас» вышней воли. Но в иных случаях мятежный «ропот» направлен на самую вышнюю волю. Из глубины поэзии Баратынского поднимается тема «оправдания Промысла» («Осень»):

Пред Промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем...

Сколько человеческой гордости в этом смирении: человек склоняется перед Промыслом, *оправданным* им. Как это выражено в «Отрывке» — верховная воля должна *оправдаться* «пред нашим сердцем и умом». Богоборческий ропот в «Отрывке» с силой аргументируется:

Как! не терпящая смешенья
В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость Божества?

«Хаос нравственный», царящий в «свете», являющем «пир нестройный», наконец, ожидающие человека смерть и разрушение — в этом должен оправдаться перед человеком «Незримый».

Но из глубины же поэзии Баратынского поднимается сердечная потребность в гармоническом разрешении мятежных противоречий, и бунтующий голос собственной поэзии переживается как

ее «болезненный дух». Поэт ждет помощи от любви; основная тема ряда стихотворений, обращенных к жене: «И покори себе бунтующую Музу». В посвященном ей же стихотворении уже последнего года жизни страшным словом назван внутренний мир поэта: «Ты, смелая и кроткая, со мною // В мой дикий ад сошла рука с рукою.» За этим словом — то состояние открытого противоречия голосов и сил бытия, в котором Баратынский видел свою поэзию, тот внутренний спор, который ведут в ней ее «тревожные» и «мятежные» и ее же «смиряющие», гармонизирующие голоса, та борьба без исхода, на которой кончается «К чему невольнику мечтания свободы?». О трудном преодолении этого состояния, которого искал поэт, говорится в нескольких самых поздних стихотворениях — в уже упомянутом, посвященном жене («Когда, дитя и страсти и сомненья..»), а также в «Молитве»:

И на строгой твой рай
Силы сердцу подай.

Какого трудного усилия исполнены эти строки, какая скрывается в них не покоренная до конца мятежность! И не радостный, светлый, но «строгой» рай доступен преодолевшему «дикий ад».

И на этом фоне загадкой поэзии Баратынского возникает венчающий ее удивительный «Пироскаф». Загадкой — ибо это последнее стихотворение тоном своим отлично от всей поэзии Баратынского: единственное беспримесно-бодрое, радостно устремленное в будущее стихотворение [1]. При этом и отличительные черты своей поэзии здесь не забыты — поэт о них говорит; но они уверенно отнесены в прошлое, очень определенно звучит мотив подведения итога:

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки Марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

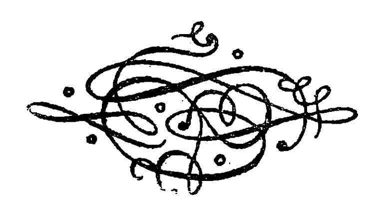
Удивительное для Баратынского слово — «решил»; никогда не говорил он так прежде. И не «строгой рай», а «Элизий земной» ожидает увидеть он (стихотворение написано на пути в Италию).

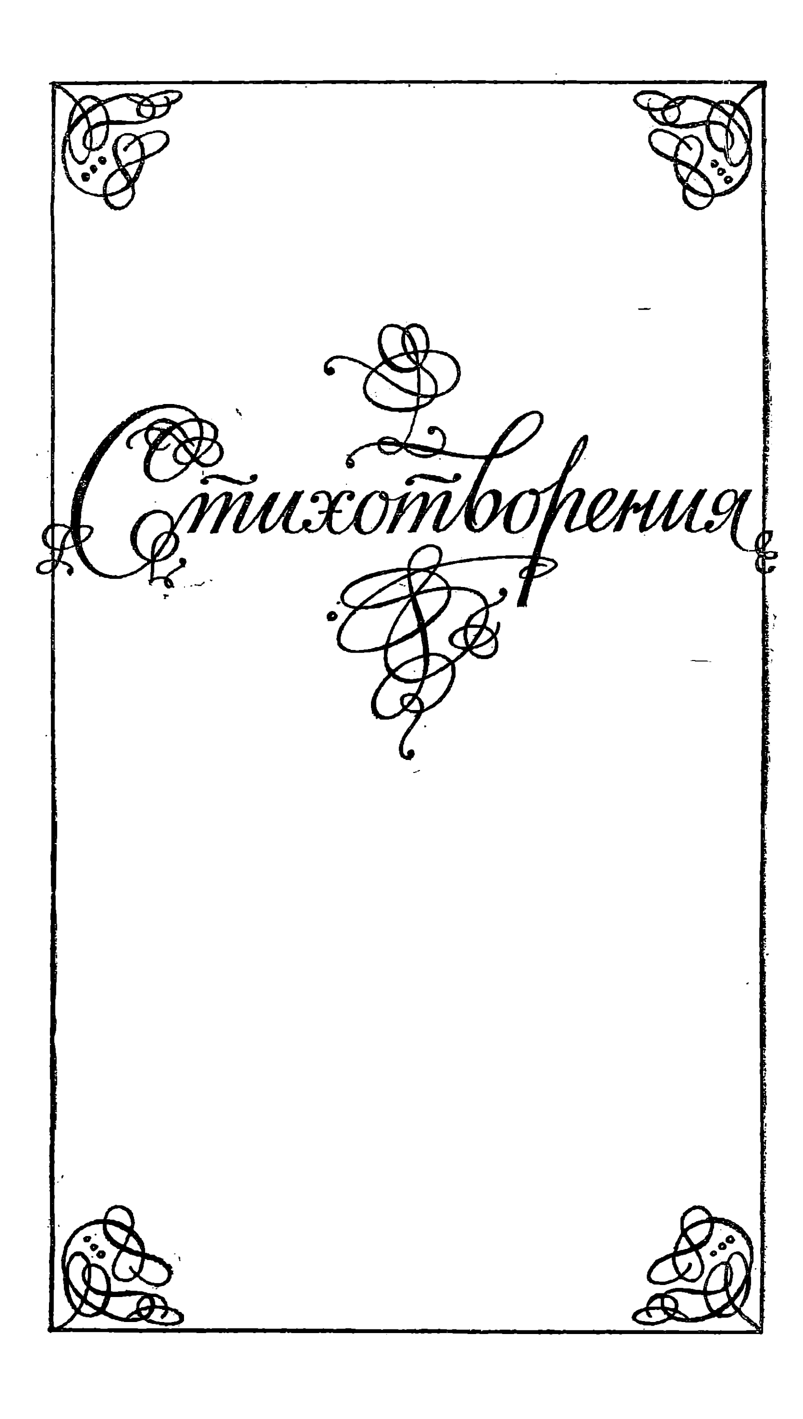
---

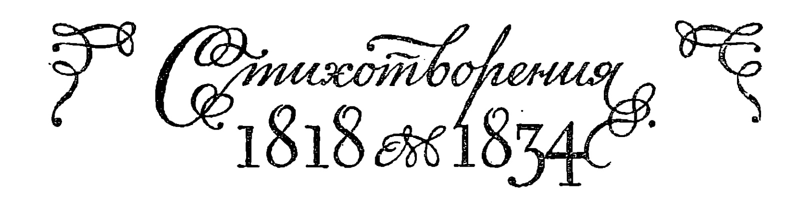
[1] О неслучайности настроения «Пироскафа» говорят и письма того же времени, необычные по тону в переписке Баратынского,— особенно замечательное письмо из Парижа на новый, 1844 год. О России, которая десятилетием раньше была для него «необитаема», Баратынский пишет теперь: «Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их, может быть, 12-ю столетиями».

Можно только гадать о том, чем могло стать для поэзии Баратынского это стихотворение, в котором с необычной для поэта ясностью проведена черта, разделяющая прошедшее («мятежное» и «смятенное») и будущее, берег, оставленный позади («С брегом набрежное скрылось, ушло!»), и новый берег, к которому в сердце «приготовлена нега». «Пироскаф» остался у Баратынского изолированным звуком, на котором смерть «остановила» поэта. И вряд ли он позволяет (хотя и так часто соблазняет на это) строить оптимистические прогнозы относительно возможного будущего развития поэзии Баратынского. Тем не менее для читателя, задумывающегося над Баратынским, есть удивительная знаменательность в таком завершении пути поэта, в том, что этому бодрому стихотворению суждено было стать заключительным звуком «поэзии таинственных скорбей».

С. Бочаров




Стихотворения



I

ФИНЛЯНДИЯ

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
Громадам, миру современным:
Подобно им, да будет он
Во все годины неизменным!
Как все вокруг меня пленяет чудно взор!
Там, необъятными водами,
Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошел тяжелыми стопами,
Сошел — и смотрится в зерцале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит
И только что себе в убор
Алмазных звезд ненужный хор
На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!

Умолк призывный щит, не слышен Скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов;

И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!
И всё вокруг меня в глубокой тишине!
О, вы, носившие от брега к брегу бои,
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышьте голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи.
Сыны могучие сих грозных, вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!
Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

1820, <1827>

II

Порою ласковую Фею
Я вижу в обаяньи сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.

Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

<1829>

III

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной розлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.

Иль вечным будет заточенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?

Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.
Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

<1824>

IV

Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пускай другие чтут приличия законы;
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный, наконец, от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист, и волн мятежный рев;
Так, небо не моля о почестях и злате,

Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
Науке размерять окопы боевые:
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О, подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней Фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель
и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой:
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.

<1821>

V

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немым развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?

Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений?

Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный
возвеститель?
Или, как призрак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

1821

VI

О счастии с младенчества тоскуя,
Все счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
В пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,
Не узнаю я свет;
Надежд своих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.

Безумен ты и все твоя желанья —
Мне первый опыт рек;
И лучшие мечты моей созданья
Отвергнул я навек.

Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем
Я дольний жребий свой,
Вдруг Истину (то не было мечтаньем)
Узрел перед собой.

«Светильник мой укажет путь ко счастью!»
(Вещала). «Захочу
И, страстного, отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный разлюбишь
И ближних и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
Я оболью суровым хладом душу,
Но дам душе покой».

Я трепетал, словам ее внимая,
И горестно в ответ
Промолвил ей: «О гостья роковая!
Печален твой привет.

Светильник твой — светильник погребальный
Всех радостей земных!
Твой мир, увы! могилы мир печальный
И страшен для живых.

Нет, я не твой! в твоей науке строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой-как моей дорогой
Один я побреду.

Прости! иль нет: когда мое светило
Во звездной вышине
Начнет бледнеть и все, что сердцу мило,
Забыть придется мне,

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти».

<1823>

VII

Наслаждайтесь: все проходит!
То благой, то строгой к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и к бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.

Не ропщите: все проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью, и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

<1834>

VIII

Люблю я красавицу
С очами лазурными:
О! в них не обманчиво
Душа ее светится!
И если прекрасная
С любовию томною
На милом покоит их,
Он мирно блаженствует,
Вовек не смутит его
Сомненье мятежное.

И кто не доверится
Сиянью их чистому,
Эфирной их прелести,
Небесной души ее
Небесному знаменью?

Страшна мне, друзья мои,
Краса черноокая;
За темной завесою
Душа ее кроется,
Любовник пылает к ней
Любовью тревожною
И взорам двусмысленным
Не смеет довериться.
Какой-то недобрый дух
Качал колыбель ее:
Оделася тьмой она,
Вспылала причудою,
Закралося в сердце к ней
Лукавство лукавого.

<1830>

IX

ЛЕТА

Душ холодных упованье,
Неприязненный ручей,
Чье докучное журчанье
Усыпляет Элизей!
Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
Погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
Я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.

<1823>

X

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя;
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я все имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

<1820>; <1827>

XI

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем,
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

<1833>

XII

Рассевает грусть пиров веселый шум.
    Вчера, за чашей круговою,
Средь братьев полковых, в ней утопив мой ум,
    Хотел воскреснуть я душою.

Туман полуночный на холмы возлегал;
Шатры над озером дремали,
Лишь мы не знали сна — и пенистый бокал
С весельем буйным осушали.

Но что же? вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили;
Но я безрадостно с друзьями радость пел:
Восторги их мне чужды были.

Того не приобресть, что сердцем не дано.
Рок злобный к нам ревниво злобен:
Одну печаль свою, уныние одно
Унылый чувствовать способен.

<1821>

XIII

ПЕСНЯ

Страшно воет, завывает
Ветр осенний;
По поднебесью далече
Тучи гонит.

На часах стоит печален
Юный ратник;
Он уносится за ними
Грустной думой.

О, куда, куда вас, тучи,
Ветер гонит?
О, куда ведет судьбина
Горемыку?

Тошно жить мне: мать родную
Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
Я расстался!

«Не грусти! — душа-девица
Мне сказала.—
За тебя молиться будет
Друг твой верный».

Что в молитвах? я в чужбине
Дни скончаю.
Возвращусь ли? взор твой друга
Не признает.

Не видать в лицо мне счастья:
Жить на что мне?
Дай приют, земля сырая,
Расступися!

Он поет, никто не слышит
Слов печальных...
Их разносит, заглушает
Ветер бурный.

<1821>

XIV

Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность, прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,
Но лишний пленник вам дороже,
Вам очень мил я, но увы!
Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.

1821

XV

ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Желтел печально злак полей,
Брега взрывал источник мутный,
И голосистый соловей
Умолкнул в роще бесприютной.
На преждевременный конец
Суровым роком обреченный,
Прощался так младой певец
С дубравой, сердцу драгоценной:

«Судьба исполнилась моя,
Прости, убежище драгое!
О прорицанье роковое!
Твой страшный голос помню я:
— Готовься, юноша несчастный!
Во мраке осени ненастной
Глубокий мрак тебе грозит;
Уж он зияет из Эрева,
Последний лист падет со древа,
Твой час последний прозвучит! —
И вяну я: лучи дневные
Вседневно тягче для очей;
Вы улетели, сны златые,
Минутной юности моей!
Покину все, что сердцу мило.
Уж мглою небо обложило,
Уж поздних ветров слышен свист!
Что медлить? время наступило:
Вались, вались, поблеклый лист!
Судьбе противиться бессильный,
Я жажду ночи гробовой.
Вались, вались! мой холм могильный
От грустной матери сокрой!
Когда ж вечернею порою
К нему пустынною тропою,
Вдоль незабвенного ручья,
Придет поплакать надо мною
Подруга нежная моя:
Твой легкий шорох в чуткой сени,
На берегах Стигийских вод,

Моей обрадованной тени
Да возвестит ее приход!»

Сбылось! Увы! судьбины гнева
Покорством бедный не смягчил,
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его могила!
С кручиной тяжкою своей
К ней часто матерь приходила...
Не приходила дева к ней!

<1823>, <1827>

XVI

Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит
И вздох случайный...
О! я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покоя;
Давным-давно я
Читаю в ней:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!

<1822>

XVII

Зачем, о Делия! сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?

Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе:
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Очарованье роковое!
Не опасаяся насмешливых сетей,
Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет, и розы красоты,
Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
К чему, бесчарная Цирцея?
Искусством округлишь ты высохшую грудь,
Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь как-нибудь
Вновь приманить... но не приманишь!
Взамену снов младых тебе не обрести
Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волненье.

<1822>

XVIII

Когда б избрать возможно было мне
Любой удел, любое счастье в мире,
Я б не хотел быть славным на войне,
Я б не хотел играть на громкой лире,
Я злата бы себе не пожелал;
Но блага все единым именуя,
То дайте мне, богам бы я сказал,
Чем Д. . . . . понравиться могу я.

<1827>

XIX

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?

Ужель душе твоей так скоро чуждым стал
Друг отлученный, друг далекой,
На финских берегах, между пустынных скал,
Бродящий с грустью одинокой?

Где ты, о Дельвиг мой! ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата?

Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,
Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?

«Что в славе? что в молве? на время жизнь дана!» —
За полной чашей мы твердили
И весело в струях блестящего вина
Забвенье сладостное пили.

И вот сгустилась ночь, и всё в глубоком сне —
Лишь дышит влажная прохлада;
На стогнах тишина! сияют при луне
Дворцы и башни Петрограда.

К знакомцу доброму стучится Купидон.
«Пусть дремлет труженик усталый!
Проснися, юноша, отвергни,— шепчет он,—
Покой бесчувственный и вялый.

Взгляни! ты видишь ли: покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
Томленья страстного в душе своей полна,
Счастливца ждет моя Лилета?»

Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!
Блажен, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;

Кто без уныния глубоко жизнь постиг
И, равнодушием богатый,
За царство не отдаст покоя сладкий миг
И наслажденья миг крылатый!

Давно румяный Феб прогнал ночную тень,
Давно проснулися заботы,
А баловня забав еще покоит лень
На ложе неги и дремоты.

И Лила спит еще: любовию горят
Младые свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты.

И где ж брега Невы? где чаш веселый стук?
Забыт друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

1820

XX

Желанье счастия в меня вдохнули боги:
Я требовал его от неба и земли
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги.
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу —
И скромно кланяюсь прохожим.

<1823>, <1827>

XXI

Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю», пишет он, «итак,
Я несомненно существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь: я пойму
Скорее истину такую.
Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын (гласит преданье)
Одушевил свое созданье,
И наказал его Зевес
Неумолимый, Прометея
К скалам Кавказа приковал,
И сердце вран ему клевал;
Но дерзость жертвы разумея,
Кто приговор не осуждал?
В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое;
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.

Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

<1824>, <1827>

XXII

ЦВЕТОК

С восходом солнечным Людмила,
Сорвав себе цветок,
Куда-то шла и говорила:
«Кому отдам цветок?

Что торопиться? мне ль наскучит
Лелеять свой цветок?
Нет! недостойный не получит
Душистый мой цветок».

И говорил ей каждый встречный:
«Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
Отдай мне твой цветок».

Она в ответ: «Сама я знаю,
Прекрасен мой цветок;
Но не тебе, и это знаю,
Другому мой цветок».

Красою яркой день сияет:
У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает:
У девушки цветок!

Идет. Услада повстречала:
Он прелестью цветок;
«Ты мил! — она ему сказала,—
Возьми же мой цветок!»

Он что же деве? Он спесиво:
«На что мне твой цветок?
Ты мне даришь его — не диво:
Увянул твой цветок».

1821

XXIII

Что пользы вам от шумных ваших прений?
Кипит война; но что же? никому
Победы нет! Сказать ли почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустяки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски.

1829

XXIV

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала:
Она словам моим внимала
С тупым, бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил...
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалася глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девой идеальной!
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.

<1825>

XXV

ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, счáстливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд Менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Наперснице души твоей
Дай диадиму и порфиру;
Державный сам ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.

1831

XXVI

Он близок, близок день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?

Не мне роптать; но дни печали,
Быть может, поздно миновали:
С тоской на радость я гляжу,—
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне.

<1820>, <1827>

XXVII

Перелетай к веселью от веселья,
Как от цветка бежит к цветку дитя;
Не успевай, за суетой безделья,
Задуматься, подумать и шутя.
Пускай тебя к Кориннам не причислят,
Играй, мой друг, играй и верь мне в том,
Что многие о милой Лизе мыслят,
Когда она не мыслит ни о чем.

<1827>

XXVIII

Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко скачущей телеге,
От нас, увы! далеко прочь,
О нас, увы! не сожалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском,
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удальцами удальцом!
О милый мой! согласен в том:
Завидно счастие такое!

Не приобщуся невпопад
Я к мудрецам чрез меру важным.
Иди! воинственный наряд
Приличен юношам отважным.
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,
Люблю красивые смотры,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть в битве шумной
Летящих в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за ними вслед
Тебя зовет; любовник брани;
Ступай, служи богине бед,
И к ней трепещущие длани
С мольбой подымет твой поэт.

<1820>, <1827>

XXIX

Мила как Грация, скромна
Как Сандрильона;
Подобно ей, красой она
Достойна трона.
Приятна лира ей моя;
Но что мне в этом?
Быть королем желал бы я,
А не поэтом.

1824 (?)

XXX

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

<1825>

XXXI

Глупцы не чужды вдохновенья;
Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.

<1828>

XXXII

Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливый,
Я за любовь любви молил;
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых:
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило:
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

1820 или 1821

XXXIII

Г<НЕДИ>ЧУ

Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных,
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов.
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде,
не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напитывая строки,
Сатирою восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И звуки легкие пастушеской свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.

Полезен обществу сатирик беспристрастный;
Дыша любовию к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им:
То укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;
Он нравов опекун и вместе правды воин.

Всё так; но кто владеть пером его достоин?
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки,
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я устрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.

Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд, наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайностям морей;
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных, возвышенный поэт.

Но рвенью моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчичей привесть,
Я благодарность их мечтал бы приобресть,
Но, право, смысла нет во слове: благодарность,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От дней Фелицыных оставшийся один,
Но смело дух ее хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспоривать царя,
Когда, прекрасному влечению послушный,
Внимать ему любил монарх великодушный,
Из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли? — «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица».
Так лучшим подвигам людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье;

Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унизить до себя;
Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клевещет!

Нет, нет! разумный муж идет путем иным,
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

<1823>, <1827>, <1834>

XXXIV

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?
Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитеся вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне, примерно, нежной став,
Вы наслажденья лишены ли:
Дурачить пленников других
И строгой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще ли нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить не трудно мне;
И ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог —
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.

1822 или 1823

XXXV

Дало две доли провидение
  На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
  Иль безнадежность и покой.

Верь тот надежде обольщающей,
  Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
  С судьбой насмешливой знаком.

Надейтесь, юноши кипящие!
  Летите: крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие
  И сердца пламенные сны!

Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие,
Себе на тягостную часть!

Гоните прочь их рой прельстительный;
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.

Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов,—

Так вы, согрев в душе желания,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.

<1823>

XXXVI

Один, и пасмурный душою,
Я пред окном сидел;
Свистела буря надо мною,
И глухо дождь шумел.

Уж поздно было, ночь спустилась;
Но сон бежал очей,
О дальном детстве пробудилась
Тоска в душе моей.

«Увижу ль вас, поля родные,
«Увижу ль вас, друзья?
«Губя печалью дни младые,
«Приметно вяну я!

«Дни пролетают, годы тоже;
«Меж тем беднеет свет!
«Давно ль покинул вас — и что же?
«Двоих уж в мире нет!

«И мне назначена могила!
«Умру в чужой стране,
«Умру, и ветреная Лила
«Не вспомнит обо мне!»

Душа стеснилася тоскою;
Я грустно онемел,
Склонился на руку главою,
В окно не зря глядел.

Очнулся я; румян и светел
Уж новый день сиял,
И громкой песнью ранний петел
Мне утро возвещал.

1821

XXXVII

В борьбе с тяжелою судьбой
Я только пел мои печали:
Стихи холодные дышали
Души холодною тоской;
Когда б тогда вы мне предстали,
Быть может, грустный мой удел
Вы облегчили б. Нет! Едва ли!
Но я бы пламеннее пел.

<1825>

XXXVIII

ЛУТКОВСКОМУ

Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы;
Проказы жизни боевой
Никак веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей,
И я люблю, тебе внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.

Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! в весельи диком
Вы мчитесь грозно... дым и гром!
Бегущий враг покрыт стыдом,
И страшный бой, с победным кликом,
Вы запиваете вином!
А Епендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитереи
Ты дружно жил и на войне!
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Ты, воин мой, защитник их:
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.
Ты сна не знаешь: чуть проглянул
День лучезарный сквозь туман,
Уж рыцарь мой на вражий стан
С дружиной быстрою нагрянул:
Врагам иль смерть, иль строгий плен!
Меж тем красавицы младые
Пришли толпой с высоких стен
Глядеть на игры боевые;
Сраженья вид ужасен им,
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы:
Да возвратится невредим
Любезный воин с лютой битвы!
О! кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!
Но ты не раз увенчан был
И бранной славой и любовью.
Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселье боя
И заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?

<1823>

XXXIX

Когда, печалью вдохновенный,
Певец печаль свою поет,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий хладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет,
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружен,
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.

<1829>

XL

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

<1829>

XLI

Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет,
На утренней заре ты юности прекрасной.
Живого чувства полный взгляд,
Уста цветущие, румяные ланиты
Влюбленных песенок сильнее говорят
С душой догадливой Хариты.
Когда с тобой наедине
Порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно опечалит
Ее внимание ко мне:
Она торопит пробужденье
Младого сердца твоего
И вынуждает у него
Свидетельство любви, ревнивое мученье.
Что доброго в моей судьбе,
И что я приобрел, красавиц воспевая?
Одно: моим стихом Харита молодая,
Быть может, выразит любовь свою к тебе!
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней,
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умей!
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.

<1826>

XLII

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косой.

О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем, прохладным дуновеньем,
Смиряя буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь Океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней;
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

<1828>, <1834>

XLIII

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!

Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина плачешь ты,
И как русалка ты хохочешь!

1824—1825

XLIV

Храни свое неопасенье;
Свою неопытность лелей;
Перед тобою много дней:
Еще уловишь размышленье.
Как в Смольном цветнике своем,
И в свете сердцу будь послушной
И монастыркой благодушной
Останься долго, долго в нем.
Пусть для тебя преображаем
Игрой младенческой мечты,
Он век не рознит с тихим раем,
В котором расцветала ты.

<1834>

XLV

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мне, идти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.

Но в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
Послушай, молвила она,
Вино советник самый здравый.

Я пил; на что ж решился я
Благим внушеньем полной чаши?
Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши.

1819—1820

XLVI

Незнаю, милая, *Незнаю*!
Краса пленительна твоя:
Незнаю я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я.

<1820>

XLVII

БОГДАНОВИЧУ

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,
Где благоденствуют отжившие поэты,
О Душенькин поэт, прими мои стихи!
Никак в писатели попал я за грехи
И, надоев живым посланьями своими,
Несчастным мертвецам скучать решаюсь ими.
Нет нужды до того! хочу в досужный час
С тобой поговорить про русский наш Парнас,
С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты,
И часто, наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли все как-то не по них.
Ну что ж? поклон, да вон! увы, не в этом дело;
Ни жить им, ни писать еще не надоело,
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к Музам их немецких Муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами

И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! — Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,

Как быть писателю? в пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатный,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники кота и петуха,
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!

Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладкопоющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописный,
Неподражаемый и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут победить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!

А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья:
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зрелее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных Муз беспечного питомца
Прими, философ мой, как старого знакомца.

1824

XLVIII

Очарованье красоты
Твоей во благо нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольной жизни, как луна,
Манишь за край земной,
С тобой, как ты, душа полна
Высокой тишиной.

<1826>

XLIX

Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другова.
Он всем превратно поражен,
И все навыворот он видит:
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.

<1827>

L

Идиллик новый на искус
Представлен был пред Аполлона.
«Как пишет он?» спросил у Муз
Бог беспристрастный Геликона.
«Никак негодный он поэт?»—
— Нельзя сказать.— «С талантом?»— Нет;
Ошибок важных, правда, мало;
Да пишет он довольно вяло.—
«Я понял вас; в суде моем
Не озабочусь я нисколько:
Вперед ни слова мне о нем.
Из списков выключить — и только».

<1827>

LI

Так! отставного шалуна
Вы вновь шалить не убеждайте
Иль золотые времена
Младых затей ему отдайте!

Переменяют годы нас
И с нами вместе наши нравы:
От всей души люблю я вас;
Но ваши чужды мне забавы.

Уж Вакх, увенчанный плющом,
Со мной по улицам не бродит
И к вашим нимфам вечерком
Меня, шатаясь, не заводит.

Весельчакам я запер дверь,
Я пресыщен их буйным счастьем
И заменил его теперь
Пристойным, тихим сладострастьем.

В пылу начальном дней младых
Неодолимы наши страсти:
Проказим мы, но мы у них,
Не у себя тогда во власти.

В своей отваге молодой
Товарищ ваш блажил довольно;
Не видит он нужды большой
Вновь сумасбродить добровольно.

<1827>

LII

Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище,
Он также множеством имен
Самолюбиво испещрен.
Увы! народ добросердечный
Равно туда, или сюда,
Несет надежду жизни вечной
И трепет страшного суда.

Но я, смиренно признаюся,
Я не надеюсь, не страшуся;
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю.
Философ я; у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.

<1829>

LIII

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины.

Я слышу: свищет Аквилон,
Качает елию скрыпучей,
И с непогодою ревучей
Твой рев мятежный соглашен.

Зачем, с безумным ожиданьем,
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею,
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины!

1821

LIV

Она придет! к ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!

Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем насладенье.

<1825>

LV

На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рощу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.

<1822>

LVI

ЭЛИЗИЙСКИЕ ПОЛЯ

Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условье,
Закон последний бытия;
Ты не спасешь меня, Киприда!
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

Простите, ветреные други,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Разгульной юности моей!
Я не страшуся новоселья;
Где б не жил я, мне все равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.

Не изменясь в подземном мире,
И там, на шаловливой лире,
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь: в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною Музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.

Когда из таинственной сени,
От темных Орковых полей,
Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени:
Я навещу, о други, вас,
Сыны забавы и веселья!
Когда для шумного похмелья
Вы соберетесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить;
А к вам молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за столом.

Меж тем за тайными брегами
Друзей вина, друзей пиров,
Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам, чрез день или другой
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть мир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой дружеской толпой;
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!

1820 или 1821

LVII

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье.
И в шуме дня и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

<1822>

LVIII

Земляк! в стране чужой, суровой
Сошлись мы вновь, и сей листок
Ждет от меня заветных строк
На память для разлуки новой.
Ты любишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали,
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали.
Покинул я предел родной!
Так и с тобою, друг мой милый,
Здесь проведу я день, другой,
И, как узнать? в стране чужой
Окончу я мой век унылый;
А ты увидишь дом отцов,
А ты узришь поля родные
И прошлых счастливых годов
Вспомянешь были золотые.
Но где товарищ, где поэт,
Тобой с младенчества любимый?
Он совершил судьбы завет,
Судьбы враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи мои найдешь,
Где складу нет, но чувство живо,
Ты их задумчиво прочтешь,
Глаза потупишь молчаливо...
И тихо лист перевернешь.

<1819>, <1827>

LIX

Когда взойдет денница золотая,
Горит эфир,
И ото сна встает, благоухая,
Цветущий мир,
И славит все существованья сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Когда на дев цветущих и приветных,
Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
Глядишь порой,
Глядишь и пьешь их томных взоров сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Страдаю я! Из-за дубравы дальной
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор.
Обманчив он! его живая сладость
Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
То в муку ей.

1824 или 1825

LX

Окогченная летунья,
Эпиграмма хохотунья.
Эпиграмма егоза
Трется, вьется средь народа
И завидит лишь урода —
Разом вцепится в глаза.

<1827>

LXI

Н. И. ГНЕДИЧУ

Так! для отрадных чувств еще я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристип,
И дружбу нежную, и Русские Афины!
Не Вакховых пиров, не лобызаний Фрины,
В нескромной юности нескромно петых мной,
Не шумной суеты, прославленной толпой,
Лишенье тяжко мне, в краю, где финну нищу
Отчизна мертвая едва дарует пищу,
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно-отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний жадный,
И сердцу и уму я пищу находил.

Счастливец! дни свои ты Музам посвятил
И бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека;
Искусства нежные и деятельный труд,
Заняв, украсили свободный твой приют.
Живитель сердца — труд, искусства — наслажденья.

Еще не породив прямого просвещенья,
Избыток породил бездейственную лень.
На мир снотворную она нагнала тень,
И чадам роскоши, обремененным скукой,
Довольство бедности тягчайшей было мукой;
Искусства низошли на помощь к ним тогда:

Уже отвыкнувших от грубого труда,
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили;
Быть может, счастием обязаны мы им.
Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпленья,
Не постигает он души употребленья,
В дремоту грубую всечастно погружен,
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он,
На собственных пирах вздыхает он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.

Они в углу моем не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не виня
И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать свое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Чужих безбрежных вод свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна,
Недолго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.

Я победил ее, и, не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Всемирных перемен читаю в них причины;
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я своей;
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
То вдохновение, Парнаса благодать,
Мне душу радует восторгами своими:
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободнее, и, лиру взяв свою,
И дружбу, и любовь, и негу я пою.

Осмеливаясь петь, я помню преткновенья
Самолюбивого искусства песнопенья;
Но всякому свое, и мать племен людских,

Усердья полная ко благу чад своих,
Природа, каждого даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью:
Кто блеском почестей пленен в душе своей;
Кто создан для войны и любит стук мечей;
Любезны песни мне. Когда-то для забавы,
Я, праздный, посетил Парнасские дубравы
И воды светлые Кастальского ручья;
Там к хорам чистых дев прислушивался я,
Там, очарованный, влюбился я в искусство
Другим передавать в согласных звуках чувство,
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовию моей.

Так, скуку для себя считая бедством главным,
Я духа предаюсь порывам своенравным;
Так, без усилия ведет меня мой ум
От чувства к шалости, к мечтам от важных дум!
Но ни души моей восторги одиноки,
Ни любомудрия полезные уроки,
Ни песни мирные, ни легкие мечты,
Воображения случайные цветы,
Среди глухих лесов и скал моих унылых,
Не заменяют мне людей для сердца милых,
И часто грустию невольною объят,
Увидеть бы желал я пышный Петроград,
Вести желал бы вновь свой век непринужденный
В кругу детей искусств и неги просвещенной,
Апелла, Фидия желал бы навещать,
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
За то не в первый раз взываю я к богам,
Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!

<1823>

LXII

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

<1825>

LXIII

Прощай, отчизна непогоды,
Печальная страна,
Где дочь любимая природы,
Безжизненна весна;
Где солнце нехотя сияет,
Где сосен вечный шум,
И моря рев, и все питает
Безумье мрачных дум;
Где, отлученный от отчизны
Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой;
Где позабыт молвой гремучей,
Но все душой пиит,
Своею Музою летучей
Он не был позабыт!
Теперь, для сладкого свиданья,
Спешу к стране родной;
В воображеньи край изгнанья
Последует за мной:
И камней мшистые громады,
И вид полей нагих,
И вековые водопады,
И шум угрюмый их!
Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну,
Но где порою житель неба,
Наперекор судьбе,
Не изменил питомец Феба
Ни Музам, ни себе.

1820

LXIV

Чувствительны мне дружеские пени,
Но искренно забыл я Геликон
И признаюсь: неприхотливой лени
Мне нравится приманчивый закон;
Охота петь уж не владеет мною:
Она прошла, погасла, как любовь.
Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыпленьем,
Я не хочу притворным исступленьем
Обманывать ни юных дев, ни Муз.

<1823>

LXV

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного Мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень;
Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов:
Под очарованный твой кров
Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли дерева
И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые, волнуяся, шумели;
С прохладой резкою дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы, рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!

Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады:
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...
Вотще! лишенные хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травою,
Приют хозяйственный в нем улья обрели,
И легкая тропа исчезла предо мною.
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот, по-прежнему, лесистым косогором,
Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем
И угрожаешь уж паденьем,
Бывало, в летний зной прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безыменной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,

Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень, священную мне, встречу.

1834

LXVI

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

<1834>

LXVII

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое;
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Похищенной искрой созданье свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он презрел — и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,
На бренную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает...

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнут блаженнейший мир,
Томимся мы жаждою счастья.

<1821>

LXVIII

О своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы

Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму
И удовольствию и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры:
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры:
Они лукавы, я слыхал,
И, все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами не доволен,
Что не доволен сам собой.

<1823>

LXIX

Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь — пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!

<1828>

LXX

В своих стихах он скукой дышит;
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?

<1821>

LXXI

Рука с рукой Веселье, Горе
Пошли дорогой бытия;
Но что? поссорилися вскоре
Во всем несходные друзья!
Лишь перекресток улучили,
Друг другу молвили: «прости!»
Недолго розно побродили,
Чрез день сошлись — в конце пути!

<1825>

LXXII

Решительно печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других...
Так! но когда их слух предубежденный
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;

Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан; — так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовию пылал?
Нет, милая! когда в уединеньи
Себя потом я тихо поверял:
Их находя в моем воображеньи,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости младой,
Из-за угла Пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.
Нет! более надменна, чем нежна,
Ты все еще обид своих полна...
Прости ж навек! но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

<1824>, <1827>

LXXIII

Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье:
«Все та же песня: ветра свист,
Листов древесных увяданье...»
Понятно нам твое страданье:
И без того освистан ты,
И так, подвалов достоянье,
Родясь, гниют твои листы.

<1826>

LXXIV

ДЕЛЬВИГУ

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба,
И тщетно нам за грозною бедой
Беду грозней пошлет судьбины злоба.

Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал: ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых Муз;
Деля досуг меж ними и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?
Ты сам порой глубокую печаль
В душе носил, но что? не мне ли вверить
Спешил ее? И дружба не всегда ль
Хоть несколько могла ее умерить?
Забытые фортуною слепой,
Мы ей назло друг в друге все имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни,
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!
Так, милый друг! позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
По-прежнему ль ко мне пребудут строги,
Всегда я твой. Судьей души моей
Ты должен быть и в ведро и в ненастье,
Удвоишь ты моих счастливых дней
Неполное без разделенья счастье;
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой:
Чего ж робеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Еще позволь желание одно
Мне произнесть: молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.

<1822>

LXXV

Мы пьем в любви отраву сладкую;
Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую,
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви — огонь живительный,
Все говорят; но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им!
Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов златых цветущей младости,
Тебе открыл бы душу вновь.

<1824>

LXXVI

Приятель строгий, ты не прав,
Несправедливы толки злые:
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалося, дышали;
Любили шумные пиры;
Гостей веселых той поры,
Забавы, шалости любили
И за роскошные дары
Младую жизнь благодарили.
Во имя лучших из богов,
Во имя Вакха и Киприды,
Мы пели счастье шалунов,
Сердечно презря крикунов
И их ревнивые обиды.
Мы пели счастье дней младых,
Меж тем летела наша младость:
Порой задумывалась радость
В кругу поклонников своих;

В душе больной от пищи многой,
В душе усталой пламень гас,
И за стаканом в добрый час
Застал нас как-то опыт строгой.
Наперсниц наших, страстных дев
Мы поцелуи позабыли
И, пред суровым оробев,
Утехи крылья опустили.
С тех пор, любезный, не поем
Мы безрассудные забавы,
Смиренно дни свои ведем
И ждем от света доброй славы.
Теперь вопрос я отдаю
Тебе на суд. Подумай, мы ли
Переменили жизнь свою,
Иль годы нас переменили?

<1821>

LXXVII

К <НЯГИНЕ> З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?

Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.

1829

LXXVIII

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы,—

Прости: я громко негодую;
Прости, наставник и пророк!
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

<1827>

LXXIX

Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил,
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне, любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так! спасибо и за то.

<1826>

LXXX

Поэт Писцов в стихах тяжеловат,
Но я люблю незлобного собрата:
Ей, ей! не он пред светом виноват,
А перед ним природа виновата.

<1820>

LXXXI

Чтоб очаровывать сердца,
Чтоб возбуждать рукоплесканья,
Я слышал, будто для певца
Всего нужнее дарованья.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвесть
Поэмой длинной, громкой одой,
И ввек того не приобресть,
Чего нам не дано природой.

Когда старик Анакреон,
Сын верный неги и прохлады,
Веселый пел амфоров звон
И сердцу памятные взгляды,
Вслед за толпой младых забав,
Богини песней, миновав
Певцов усерднейших Эллады,

Ему внимать исподтишка
С вершины Пинда поспешали
И балагура старика
Венком бессмертья увенчали.
Так своенравно Аполлон
Нам раздает свои награды;
Другому богу Геликон
Отдать хотелось бы с досады!
Напрасно до поту лица
О славе Фофанов хлопочет:
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.
Меж тем, даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали,
И что ж? нечаянно они
Ее в Цитере повстречали.

Пленен ли Хлоей, Дафной ты,
Возьми Тибуллову цевницу,
Воспой победы красоты,
Воспой души своей царицу,
Когда же любишь стук мечей,
С высокой музою Омира
Пускай поет вражды царей
Твоя воинственная лира.
Равны все музы красотой,
Несходство их в одной одежде,
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.

<1822>

LXXXII

РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больнова
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

<1821>

LXXXIII

А. А. Ф...ОЙ

Вы дочерь Евы, как другая:
Как перед зеркалом своим
Власы роскошные вседневно убирая,
Их блеском шелковым любуясь перед ним,
Любуясь ясными очами,
Обворожительным лицом
Блестящей Грации, пред вами
Живописуемой услужливым стеклом,
Вы угадать могли свое предназначенье?
Как, вместо женской суеты,
В душе довольной красоты
Затрепетало вдохновенье?
Прекрасный, дивный миг! Возликовал Парнас:
Хариту, как сестру, Камены окружили,
От мира мелочей вы взоры отвратили:
Открылся новый мир для вас.
Сей мир свободного мечтанья,
В который входит лишь поэт;
Где исполнение находят все желанья,
Где сладки самые страданья
И где обманов сердцу нет.
Мы встретилися в нем. Блестящими стихами
Вы обольстительно приветили меня.
Я знаю цену им. Дарована судьбами
Мне искра вашего огня.

Забуду ли я вас? забуду ль ваши звуки?
В душе признательной отозвались они.
Пусть бездну между нас раскроет дух разлуки,
Пускай летят за днями дни:
Пребудет неразлучна с вами
Моя сердечная мечта,
Пока пленяюся я лирными струнами,
Покуда радует мне душу красота.

1832

LXXXIV

Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шутливый!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед,
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждет судьба одна:
Всех чередом поглотит Лета,
И философа болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролетное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, был умней.
Будь дружен с Музою моего,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею?

<1821>

LXXXV

Не трогайте Парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам немного в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их Летийские струи:
На пальчиках чернила остаются.

1826

LXXXVI

СТАРИК

Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век младой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня...
Но пролетели дни младые;
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.
Пускай венок, сплетенный Лелем,
Не обновится никогда,—
Года, увенчанные хмелем,
Еще прекрасные года.

<1828>

LXXXVII

Хвала, маститый наш Зоил!
Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,

Вот Пушкин бесит. Как любим,
Как отличен ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили:
Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем.
Другие три тебя бесили.

<1829>

LXXXVIII

ПОДРАЖАНИЕ ЛАФАРУ

Свободу дав тоске моей,
Уединенный, я недавно
О наслажденьях прежних дней
Жалел и плакал своенравно.
Все обмануло, думал я,
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой,
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердца мертвой тишиной!
Тогда с улыбкою коварной
Предстал внезапно Купидон.
«О чем вздыхаешь,— молвил он,—
О чем грустишь, неблагодарный?
Забудь печальные мечты:
Я вечно юн, и я с тобою!
Воскреснуть сердцем можешь ты;
Не веришь мне? взгляни на Хлою!»

<1820>

LXXXIX

Я безрассуден — и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
«Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивою забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И проницательность твоя
Хвалы достойна, верю я;
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор,
И полный неги, полный муки,
На мне покоившийся взор;
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она,
И говорю в тоске глубокой:
«Ужель обманут я жестокой?
Или все, все в безумном сне
Безумно чудилося мне?
О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я...»

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой,
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,

Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: «Горюн неловкой!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую:
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?»

<1823>

XC

Д. ДАВЫДОВУ

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням Муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!

1825

XCI

Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Не многим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Когда под звонкие напевы,
Под звук свирели плясовой,
Среди полей, рука с рукой,
Кружатся юноши и девы,
Вмешавшись в резвый хоровод,
Хариты, ветреный Эрот,
Дриады, Фавны пляшут с ними
И гонят прочь толпу забот
Воскликновеньями своими;
Поодаль Музы между тем,
Таяся в сумраке дубравы,
Глядят, незримые никем,
На их невинные забавы;
Но их собор в то время нем.
Певцу ли ветрено бесславить
Плоды возвышенных трудов
И легкомыслие забавить
Игрою гордою стихов?
И той нередко, чье воззренье
Дарует лире вдохновенье,
Не поверяет он его:
Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.

<1821>, <1827>

XCII

Взгляните: свежестью младой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит — и путь не продолжает!

1818 (?)

XCIII

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.

Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной:
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу без любви, кто знает? изберу я.

На брак обдуманный я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим:
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.
Прощай! Мы долго шли дорогою одною:
Путь новый я избрал, путь новый избери;

Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

<1823>, <1834>

XCIV

АВРОРЕ Ш...

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

1825

XCV

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков;
Но лишь ветр его коснется,
Он исчезнет без следов:
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.

<1829>

XCVI

Я не любил ее, я знал,
Что не она поймет поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа!
Чего ж, безумец, в ней искал?

Зачем стихи мои звучали
Ее восторженной хвалой
И малодушно возвещали
Ее владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умиленьем
Ей все мечты души моей?..
Туман упал с моих очей:
Ее бегу я с отвращеньем!
Так, омраченные вином,
Мы недостойному порою
Жмем руку дружеской рукою,
Приветствуем его с осклабленным лицом,
Красноречиво изливаем
Все думы сердца перед ним;
Ошибки темное сознание храним,
Но блажь досадную напрасно укрощаем
Умом взволнованным своим.
Очнувшись, странному забвению дивимся,
И незаконного наперсника стыдимся,
И от противного лица его бежим.

<1834>

XCVII

ИЗ А. ШЕНЬЕ

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой Музы —
Все обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

<1828>

XCVIII

Взгляни на звезды: много звезд
  В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
  На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
  Милее всех одна!
За что же? Ранее встает,
  Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
  Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
  Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,
  Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
  И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
  Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
  На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
  В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
  На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
  И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
  Своею назови.

Ту назови своей звездой,
  Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
  И нежностью горит.

1824

XCIX

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

<1834>

C

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещеваний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век младой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытясь буйным наслажденьем,
Пресытясь ласками Цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я.

Случится ль ведро иль ненастье
На перепутье бытия?
Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней,
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой
Не озарит души моей!..

<1821>

CI

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

1828

CII

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно;
Уделом нашим решено,

Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях Муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдалися отныне!
Готов я с бодрою душой
На все угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

<1825>

CIII

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытав его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам.
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливцев тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.

Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? все раны, все недуги,
Все расслабление души твоей больной;
Забыв и свет и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханьи пить
Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

1820

CIV

На звук цевницы голосистой,
Толпой забав окружена,
Летит прекрасная весна;
Благоухает воздух чистый,
Земля воздвиглась ото сна.

Утихли вьюги и метели,
Текут потоками снега;
Опять в горах трубят рога,
Опять зефиры налетели
На обновленные луга.

Над урной мшистою Наяда
Проснулась в сумраке ветвей,
Стрясает инеи с кудрей,
И, разломав оковы хлада,
Заговорил ее ручей.

Восторги дух мой пробудили!
Звучат и блещут небеса;

Певцов пернатых голоса
Пастушьи песни огласили
Долины, горы и леса.

Лишь ты, увядшая Климена,
Лишь ты в печаль облечена,
Весны не празднуешь одна!
Тобою младости измена
Еще судьбе не прощена!

Унынье в грудь к тебе теснится,
Не видишь ты красы лугов.
О, если б щедростью богов
Могла ко смертным возвратиться
Пора любви с порой цветов!

1822 (?)

CV

Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

<1829>

CVI

ЧЕРЕП

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он;
Я зрел на нем ход постепенный тленья.
Ужасный вид! как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала:
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом,
Все истины известные гробам
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший;
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! уверься, наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти, и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

<1824>, <1834>

CVII

О мысль! тебе удел цветка.
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,

И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек —
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.

<1834>

CVIII

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанной,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще —
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

Я твой, родимая доброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах:
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.

1827

CIX

Есть грот: Наяда там в полдневные часы
Дремоте предает усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая,
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую, под говор ключевой,
Склоняяся челом, венчанным осокой.

1826

CX

МАДОНА

В Италии где-то, но в поле пустом
(Не зрелось жилья на полмили кругом)

Меж древних развалин стояла лачужка;
С молоденькой дочкой жила в ней старушка.

С рассвета до ночи за тяжким трудом,
А все-таки голод им часто знаком.

И дочка порою душой унывала;
Терпеньем скудея, на бога роптала.

«Не плачь, не кручинься ты, солнце мое! —
Тогда утешала старушка ее: —

Не плачь, переменится доля крутая:
Придет к нам на помощь Мадона святая.

Да лик ее веру в тебе укрепит:
Смотри, как приветно с холста он глядит!»

Старушка смиренная с речью такою,
Бывало, крестилась дрожащей рукою,

И с теплою верою в сердце простом
Она с умиленным и кротким лицом

На живопись темную взор подымала,
Что угол в лачужке без рам занимала.

Но больше и больше нужда их теснит;
Дочь плачет и ропщет, старушка молчит.

С утра по руинам бродил любопытный:
Забылся, красе их дивясь, ненасытный.

Кров нужен ему от полдневных лучей:
Стучится к старушке, и входит он к ней.

На лавку садился пришлец утомленный,
Но вспрянул, картиною вдруг пораженный.

«Божественный образ! чья кисть это, чья?
О, как не узнать мне! Корреджий, твоя!

И в хижине этой творенье таится,
Которым и царский дворец возгордится!

Старушка, продай мне картину свою,
Тебе за нее я сто пиастров даю».

— Синьор, я бедна, но душой не торгую;
Продать не могу я икону святую.—

«Я двести даю, согласися продать».
— Синьор, синьор! бедность грешно искушать.—

Упрямства не мог победить он в старушке:
Осталась картина в убогой лачужке.

Но вскоре потом по Италии всей
Летучая весть разнеслася о ней.

К старушке моей гость за гостем стучится,
И, дверь отворяя, старушка дивится.

За вход она малую плату берет
И с дочкой своею безбедно живет.

Так, веру и гений в едино сливая,
Равно оправдала их дева святая.

1832 (?)

CXI

О верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
 Мешает мне его волненье
 Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
 Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую Музу.

<1834>

CXII

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок

В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

<1828>

CXIII

Мой неискусный карандаш
Набросил вид суровый ваш,
Скалы Финляндии печальной;
Средь них, средь этих голых скал,
Я, дни весны моей опальной
Влача, душой изнемогал.
В отчизне я. Перед собою
Я самовольною мечтою
Скалы изгнанья оживил
И, их рассеянно рисуя,
Теперь с улыбкою шепчу я:
Вот где унылый я бродил,
Где, на судьбину негодуя,
Я веру в счастье отложил.

1831 (?)

CXIV

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем как волны на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты,
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуяся, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И, наконец, я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живова.

Сначала мир явил мне дивный сад:
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Их в Эмпирей и в Хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? Скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье:
Мне слышалось их гладкое блеянье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.

По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло;
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло:
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.

<1827>

CXV

К. А. СВЕРБЕЕВОЙ

В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.

Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!

1829

CXVI

Слыхал я, добрые друзья,
Что наши прадеды в печали,
Бывало, беса призывали:
Им подражаю в этом я.

Но не пугайтесь: подружился
Я не с проклятым сатаной,
Кому душою поклонился
За деньги старый Громобой;
Узнайте: ласковый бесенок
Меня младенцем навещал
И колыбель мою качал
Под шопот легких побасенок.
С тех пор я вышел из пеленок,
Между мужами возмужал,
Но для него еще ребенок.
Случится ль горе, иль беда,
Иль безотчетно иногда
Сгрустнется мне в моей конурке,—
Махну рукой: по старине
На сером волке, сивке-бурке
Он мигом явится ко мне.
Больному духу здравьем свистнет,
Бобами думу разведет,
Живой водой веселье вспрыснет,
А горе мертвою зальет.
Когда в задумчивом совете
С самим собой, из-за угла
Гляжу на свет, и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон,
Я слабым сердцем возмущен,—
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он,
Или, в мгновение зеницы,
Чудесный коврик-самолет
Он подо мною развернет,
И коврик тот в сады жар-птицы,
В чертоги дивной царь-девицы
Меня по воздуху несет.
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее доселъ:
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.

1828

CXVII

Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были: средь буйственного стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана,
Всегда уносимся мы думою своей;
Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
И вежды старые сомкнуть
Последним, вечным сном желаем.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на все, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дерном гробовым:
Воспоминанием живым
Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем... но прости! Печаль любви сладка,
Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
Сухая скорбь разуверенья.

<1834>

CXVIII

ПРИ ПОСЫЛКЕ «БАЛА» С. Э.

Тебе ль, невинной и спокойной,
Я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображен преступный жар?

И безобразный, и мятежный,
Он не пленит твоей мечты;
Но что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.

Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
От путешественника-друга
Пустыни дальной дикий цвет.

1828

CXIX

НА СМЕРТЬ ГЕТЕ

Предстала, и старец великий смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа:
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,

Цветущих времен упованья;
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведан, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждет ничего,—
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Все дольное долу отдавший,
К предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.

1832

CXX

К. А. ТИМАШЕВОЙ

Вам все дано с щедротою пристрастной
Благоволительной судьбой:
Владеете вы лирой сладкогласной
И ей созвучной красотой.
Что ж грусть поет блестящая певица?
Что ж томны взоры красоты?
Печаль, печаль — души ее царица,
Владычица ее мечты.
Вам счастья нет, иль на одно мгновенье
Блеснувши, луч его погас;
Но счастлив тот, кто слышит ваше пенье,
Но счастлив тот, кто видит вас.

<1834>

CXXI

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущий старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

1831

CXXII

Где сладкий шопот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Все цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седою мглой.

Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лёт?
Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.

Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.
В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой
И забываю
Я бури вой.

О провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бурь бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней,
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Ее согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,
Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.

1831 (?)

CXXIII

Как ревностно ты сам себя дурачишь!
На хлопоты вставая до звезды,
Какой-нибудь да пакостью означишь
Ты каждый день без цели, без нужды!
Ты сам себя, и прост и подел вкупе,

Эпитимьей затейливой казнишь:
Заботливо толчешь ты уголь в ступе
И только что лицо свое пылишь.

<1828>

CXXIV

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.

<1828>

CXXV

Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!

Зачем так радует ее
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он, дивный, унесет!

<1834>

CXXVI

Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет

Для узнанья, друг мой милый,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.

<1834>

CXXVII

Хотя ты малый молодой,
Но пожилую мудрость кажешь:
Ты слова лишнего не скажешь
В беседе самой распашной;
Приязни глупой с первым встречным
Ты сгоряча не заведешь,
К ногам вертушки не падешь
Ты пастушком простосердечным;
Воздержным голосом твоим
Никто крикливо не хвалим,
Никто сердито не осужен.
Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен,
Довольно дюжинной души.

<1830>

CXXVIII

Дитя мое, она сказала,
Возьмешь иль нет мое кольцо?
И головою покачала,
С участьем глядя ей в лицо.

Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое:
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.

Но договор судьбой ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,

И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.

Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.

Вотще ей разум, дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским
Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.

Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:
Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо.

Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою веселой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелый
Всезабывающей любви.

И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.

<1833>

CXXIX

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,

Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

1831

CXXX

ОТРЫВОК

ОН

Под этой липою густою
Со мною сядь, мой милый друг;
Смотри: как живо все вокруг!
Какой зеленой пеленою
К реке нисходит этот луг!
Какая свежая дуброва
Глядится с берега другова
В ее веселое стекло!
Как небо чисто и светло!
Все в тишине; едва смущает
Живую сень и чуткий ток
Благоуханный ветерок:
Он сердцу счастье навевает!
Молчишь ты?

ОНА

О любезный мой!
Всегда я счастлива с тобой
И каждый миг равно ласкаю.

ОН

Я с умиленною душой
Красу творенья созерцаю.
От этих вод, лесов и гор
Я на эфирную обитель,
На небеса подъемлю взор
И думаю: велик зиждитель,
Прекрасен мир! Когда же я
Воспомню тою же порою,
Что в этом мире ты со мною,
Подруга милая моя...
Нет сладким чувствам выраженья,
И не могу в избытке их
Невольных слез благодаренья
Остановить в глазах моих.

ОНА

Воздай тебе создатель вечный!
О чем еще его молить!
Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.

ОН

Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренье
Пленяет свет веселый дня,
Пленяет божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю...
А завтра... завтра... как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!

Вотще к устам моим прильнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовешь:
Я не проснусь! И что мы знаем?
Не только завтра, сей же час
Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве не смущаем
Такою думою?

ОНА

Что с тобой?
Зачем твое воображенье
Предупреждает провиденье?
Бог милосерд, друг милый мой!
Здоровы, молоды мы оба:
Еще далеко нам до гроба.

ОН

Но всё ж умрем мы наконец,
Все ляжем в землю.

ОНА

Что же, милый?
Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его творец.
Спокойны будем: нет сомненья,
Мы в жизнь другую перейдем,
Где нам не будет разлученья,
Где все земные опасенья
С земною пылью отряхнем.
Ах! как любить без этой веры!

ОН

Так, всемогущий без нее
Нас искушал бы выше меры:
Так, есть другое бытие!
Ужели некогда погубит
Во мне он то, что мыслит, любит,

Чем он созданье довершил,
В чем, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил он отраженьем
И сам себя изобразил?
Ужели творческая сила
Лукавым светом бытия
Мне ужас гроба озарила,
И только?.. Нет, не верю я.
Что свет являет? Пир нестройный!
Презренный властвует; достойный
Поник гонимою главой;
Несчастлив добрый, счастлив злой.
Как! нетерпящая смешенья
В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость божества?
Как! между братьями своими
Мы видим правых и благих,
И, превзойден детьми людскими,
Не прав, не благ создатель их?..
Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья:
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается незримый
Пред нашим сердцем и умом.

ОНА

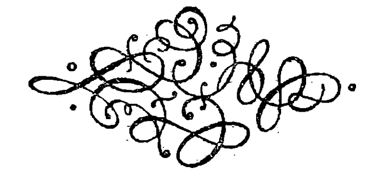
Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?
Премудрость вышнего творца
Не нам исследовать и мерить:
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдем: грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.

<1829>

CXXXI

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

1831



Стихотворения 1834—1844

* * *

Вот верный список впечатлений
И легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Все, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя и ото света...
Но уж свое они рекли,
А что прошло, то непреложно.
Гöда волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытие.
Одно желание мое —
Покой, домашние отрады.
И погружен в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? с бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос: родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

1834 (?)

* * *

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упадших чертогов колонны!

Середина 1830-х годов

ОБЕДЫ

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
Привел обед в счастливое броженье,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтеся, чтоб гости за столом,
Не менее Харит своим числом,
Числа Камен у вас не превышали.

<1839>

ЗВЕЗДЫ

Мою звезду я знаю, знаю
И мой бокал.
Я наливаю, наливаю,
Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
Смеюся я:
Живет не здесь — в звездах Моэта
Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
Уста мои —
Не нужно мне ни звезд небесных,
Ни звезд Аи!

<1839>

* * *

На все свой ход, на все свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха непутем:
Салоны есть,— но этот смотрит детской,
А тот, увы! — глядит гошпиталем.

1840—1841

КОТТЕРИИ

Братайтеся, к взаимной обороне
Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в притоне,
Бездарные писцы хлопотуны!
Наоборот союзным на благое,
Реченного достойные друзья:
Аминь, аминь, вещал он вам, где трое
Вы будете — не буду с вами я.

1842

* * *

Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я, не усталый, но ленивый,
Уж пил Летийские струи.

Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,

Остановили на закате
Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,
И человеческим сынам
Досель безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!

1842 (?)

С КНИГОЮ «СУМЕРКИ» С. Н. К.

Сближеньем с вами на мгновенье
Я очутился в той стране,
Где *в оны дни* воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный *сумерки* мои.

1842

* *

Люблю я вас, богини пенья,
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья,—
Предтечей жизненных невзгод.

Любовь Камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! Боюся я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От Музы, ласковой ко мне,
И говорю: до завтра звуки,
Пусть день угаснет в тишине.

1842 (?)

НА ПОСЕВ ЛЕСА

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей младой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольный мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит,—
К ее сынам еще взывает лира.

Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос:
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети.

1842 (?)

* * *

Когда твой голос, о Поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит;

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет,

И тихий гроб твой посетит,
И над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто!— но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.

<1843>

* * *

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,
В нем таинство печали-полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою,—
Рай зрела в нем чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.

1844

ПИРОСКАФ

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами,
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилица,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море:
С брегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская:
Пеною здравья брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

1844

ДЯДЬКЕ-ИТАЛЬЯНЦУ

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл: прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на все пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе коё-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Ты дал мне благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
Ментора моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,
Где волею небес узнал я бытие,
О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,
Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.

Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнию ее сливая жизнь свою,
Ее событьями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.
Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал;
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее, порой, с пределов света,

Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет,
И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра,
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатов,
Входящих (вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов),
В густой пыли побед, в грозе небритых бород,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где, год спустя, тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный Кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революцьонных фраз.
Народ ему зажег приветственные плошки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес:
Едва ты узнику печальному британца
Простил военную систему Корсиканца.

Что на твоем веку, то ль благо, то ли зло
Возникло, при тебе в преданье перешло:
В Альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталый,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей!

Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой,— амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов,
И ужасов и нег взлелеял Эпопею,
Где в мраки Тартара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.

Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдыхов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный, среди твоих красот,
Не жаждал в их раю обресть навес иль грот,
Где б скрылся (не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги),
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном.

И в сей Италии, где всё — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безымянный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно,—
Все беззаботному дыханью благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших вьюг.
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крылиях Зефира!

О тайны душ! меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,

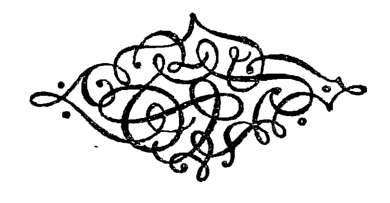
Напрасно! (уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала) —
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых!
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых,
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный Аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем.

1844

МОЛИТВА

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

1840-е годы





КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Как жизни общие призывы,
Как увлеченье суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия.
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви добра и красоты.

Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, —
Еще, порою, покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.

Ищу я вас; гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю,
От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

1834

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Век шествует путем своим железным.
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла:
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз,
Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае Муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет:
Нежданный сын последних сил природы —
Возник Поэт: идет он и поет.

Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей:
Как пажити Эол бурнопогодный,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подъемлется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Жарким сердцем покоримся
Думам хладным, а не им!
Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!

Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста вещать полуотверсты,
Но гордыя главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земли уединенья нет!

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. голос волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И попрежнему блистает
Хладной роскошию свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

<1835>

* * *

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.

<1841>

НОВИНСКОЕ

А. С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкой сон,
Сей тонкой сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви, для вдохновенья.

1826, <1841>

ПРИМЕТЫ

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав из лесу, волк,
Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним,
Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

<1839>

* * *

Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных Граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!

<1840>

* * *

Увы! Творец не первых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописанье!

Неаполь возмутил рыбарь,
И, власть прияв, как мудрый царь,
Двенадцать дней он градом правил;
Но что же? — непривычный ум,
Устав от венценосных дум,
Его в тринадцатый оставил!

<1838>

НЕДОНОСОК

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду слабея.

Как мне быть? я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Блещет солнце: радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним как облачко;
Пью счастливо воздух тонкой:
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.

Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный
Омрачивших, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня как пух,
Мчит под небо громовое.

Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
Обращусь ли к небесам,
Оглянуся ли на землю:
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъемлю.

Смутно слышу я порой
Клич враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов.
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!

Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,

Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

<1835>

АЛКИВИАД

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
  Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
  Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;
Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,
  Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же и глух был, и слеп; он, не в меди глядясь, а в грядущем,
  Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?

<1835>

РОПОТ

Красного лета отрава, муха досадная, что ты
  Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
  Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
  Дикого скифа творишь, жадного смерти врага.

<1841>

МУДРЕЦУ

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно.
Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

<1840>

* * *

Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.
И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

<1841>

БОКАЛ

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристал...
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин:
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,
Все твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата

И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой.

Мой восторг неосторожный
Не обидит никого;
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего;
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй
Иль отравы бытия;
Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой:
Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму, пророк
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченьи
Общежительных страстей,
В одиноком упоеньи
Мгла падет с его очей!

<1835>

* * *

Были бури, непогоды,
Да младые были годы!

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;

Вольной песнью разольется:
Скорбь-невзгода распоется!

А как век-то, век-то старый
Обручится с лютой карой;

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый:

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

1839

* * *

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

<1840>

АХИЛЛ

Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту
И кипящего Ахилла
Бою древнему явила
Уязвимым лишь в пяту.

Обречен борьбе верховной,
Ты ли, долею своей
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!

<1841>

* * *

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

<1837>

* * *

Еще как патриарх не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложенье!
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменьи ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,
В залог румяных дней и доли благодатной.

1839

* * *

Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы,
Людских сует, забот юдольных.

Ощупай возмущенный мрак:
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.

О сын Фантазии! ты благодатных Фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей!
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.

<1839>

* * *

Здравствуй, отрок сладкогласный!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!

Честь возникшему Пииту!
Малолетную Хариту
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жавронок живой,
Чуткой грудию своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!

<1841>

* * *

Что за звуки? Мимоходом
Ты поешь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз Камены песен,
И беседовал ты с ней
Безыменной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! слышу чувство
В сильной песни... Но искусство...
Старцев старее оно:
Эти радости, печали —
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горном клире
Звучен будет голос твой!

<1841>

* * *

Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

<1840>

СКУЛЬПТОР

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

<1841>

ОСЕНЬ

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его, в зерцале зыбком вод,
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол;
Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

3

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо, в рощах обнаженных,
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

4

А между тем досужий селянин
  Плод годовых трудов сбирает:
Сметав в стога скошенный злак долин,
  С серпом он в поле поспешает,
Гуляет серп. На сжатых бороздах
  Снопы стоят в копнах блестящих
Иль тянутся, вдоль жнивы, на возах,
  Под тяжкой ношею скрыпящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

5

Дни сельского, святого торжества!
  Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова
  Ожившей мельницы крутятся.
Иди, зима! на строги дни себе
  Припас оратай много блага:
  Отрадное тепло в его избе,
  Хлеб-соль и пенистая брага;
С семьей своей вкусит он, без забот,
Своих трудов благословенный плод!

6

А ты, когда вступаешь в осень дней,
  Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
  Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
  Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды
  И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее сбираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты:

7

Ты так же ли, как земледел, богат?
  И ты, как он, с надеждой сеял;

И ты, как он, о дальнем дне наград
  Сны позлащенные лелеял...
Любуйся же, гордись восставшим им!
  Считай свои приобретенья!..
Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
  Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!

8

Твой день взошел, и для тебя ясна
  Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
  Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
  Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
  Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен.

9

Но если бы негодованья крик,
  Но если б вопль тоски великой
Из глубины сердечныя возник
  Вполне торжественный и дикой:
Костями бы среди своих забав
  Содроглась ветряная младость,
Играющий младенец, зарыдав,
  Игрушку б выронил, и радость
Покинула б чело его навек,
И заживо б в нем умер человек!

10

Зови ж теперь на праздник честный мир!
  Спеши, хозяин тароватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
  Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!

Каким разнообразьем брашен
Блистает он!.. Но вкус один во всех
И как могила людям страшен:
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

11

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревращенье:
Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум бесполезный сердца трепет
Угомонит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад.

12

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя невдали,
Цветущий брег за мглою черной,
Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным
И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой, —

13

Пред промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем:
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

14

Вот буйственно несется ураган,
И лес подъемлет говор шумный,
И пенится, и ходит Океан,
И в берег бьет волной безумной:
Так иногда толпы ленивой ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

15

Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая:
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекой вой,
Равно как в высотах Эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

16

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой, —
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей:
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

1836—1837

* * *

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный, изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.

Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

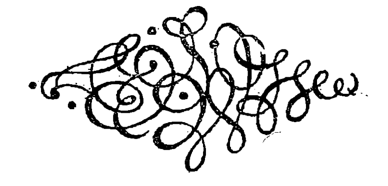
<1839>

РИФМА

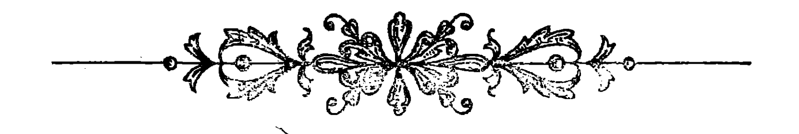
Когда на играх олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец Муз, он пел среди валов
Народа, жадного восторгов мусикийских:
В нем вера полная в сочувствие жила.
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.
Толпа вниманием окована была.
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца
И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем.
Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил, и славословил он
Или оплакивал народную Фортуну,
И устремлялися все взоры на него,
И силой слова своего
Витийя властвовал народным произволом:
Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форума!..
Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума?
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый!

Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, Рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного брега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

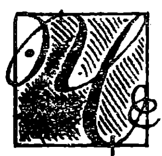
<1840>



Проза



О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ИСТИНЕ



то называем мы заблуждением? что называем мы истиной? Я не говорю об истинах исторических, математических или нравственных; нет, я говорю о минутных соображениях разума, основанных на каких-либо мнениях, почитаемых нами за истинные, вследствие которых мы так или иначе принимаем впечатления окружающих нас предметов. Я спрашиваю, почему одни впечатления, или родившиеся от них мысли, мы называем истинными, а другие ложными?

Ежели в прекрасный вечер, смотря на заходящее солнце, последними лучами озлащающее зеленые холмы,— полный тихим спокойствием засыпающей природы, я воскликну в минуту восторга: как величественно, как прекрасно творение! — никто не подумает назвать заблуждением чувство, которое заставило меня изъясниться таким образом.— Дитя ловит бабочку и, поймав ее, восклицает: как прекрасна бабочка! как я рад, что поймал ее! — Мы говорим с чувством собственного превосходства: прелестный возраст! бабочка составляет твое счастие; но придет время, и заблуждение исчезнет!

Почему заблуждение? потому ли, что оно проходчиво? Но что же в мире не проходчиво? Природа в целом не существует для дитяти: в ней существует для него только бабочка; нас восхищает Природа, но бабочка уже для нас не существует. Много ли мы выиграли в обмане? и кто поручится, что мы теперь видим яснее, нежели видели прежде?

Молодость называют временем слепоты и заблуждений; самовластная старость умела определить ее таким образом: Юноши, говорит нам ворчунья, страсти ослепляют вас; мечты ваши украшают все предметы; воображение устилает цветами бездну, готовую расступиться под стопами вашими; но поживите с мое, и вы увидите истину без покрова.

Бабушка, я бы отвечал ей: твои уроки мне бы досадили в другое время, но сегодня я не расположен сердиться и тебе советую отвыкнуть от твоего брюзгливого ворчанья. Но послушай: глаза твои слабеют, а ты хочешь лучше меня видеть! Чувства твои завяли,— а ты хочешь лучше меня чувствовать! Как? потому, что годы, лишив тебя зрения, накинули мрачное покрывало на окружающие тебя предметы, я должен верить, что они в самом деле одеты туманом! Как, потому, что твое воображение угасло, я назову мечтательными цветы, которые вижу при свете собственного воображения! Я не могу сомневаться в их существовании потому, что их вижу, а вижу потому, что имею хорошее зрение. Ты лишена и глаз, и чувства; займи их у меня, моя милая, и ты почувствуешь всю ветреность твоих заключений.

Я думала, как ты, в твои лета, мне отвечает старушка: опыт разрушил мои воздушные замки; годы отнимают глаза, но делают зорким рассудок.

Я не знаю, что ты понимаешь под словом рассудок? Я думаю, что это ничто иное, как то чувство, которое, вследствие приобретенных мною понятий чрез различные впечатления, заставляет меня видеть предметы в том порядке, в каком я в сию минуту их вижу. И могу ли я их видеть иначе? Могу ли отделять от себя мечты и страсти, составляющие необходимую часть самого меня? Ты мне говоришь об опыте; но я не знаю еще, что такое опыт. Он или прибавит что-нибудь к существу моему, или уничтожит некоторую часть его: в обоих случаях я перестану быть самим собою,— я переменюсь один, предметы не переменятся. И зачем мне променять мечты свои на твой рассудок? — Ты сказала в какой-то книге: суди о человеке по его поступкам,— нельзя ли сказать тоже: суди о правилах по их последствиям? — Суди же, моя радость: ты печальна, а я весел; ты подозрительна, а я доверчив; ты сердишься и кашляешь, а я

смеюсь и напеваю шутливую песню; я умнее потому, что счастливее.

Но было время, когда ты строил карточные замки, забавлялся восковою куклою, снаряжал бумажные корабли: игрушки для тебя уже стали игрушками; скоро и мечты для тебя будут мечтами.

Не спорю! Но со временем я и сам умру — всему есть границы; но не замки из мраморных превратились в карточные, не корабли из деревянных превратились в бумажные: я один лишился чувства, которое или меня обманывало, или заставляло лучше видеть; по крайней мере, наслаждения были истинными.

Ты нечаянно согласился, что есть предметы, существующие для одного только воображения, следственно, мечтательные.

Мечтательные потому, что существуют для одного только воображения! Забавное заключение! Почему доверять одному чувству более, нежели другому? Звуки существуют для одного только слуха; следственно, звуки не существуют! Неужели Природа делает что-нибудь без цели? Воображение есть такое же свойство, как и другие свойства. Ты скажешь, что оно изменяет нам прежде, нежели другие способности; что опыт разрушает призраки его. Согласен; но мы несколько позже лишаемся зрения, слуха, иногда и разума. Не все ли равно лишиться физически способности видеть или метафизически — способности воображать? — Ты говоришь, что меня обманывают мечты мои; я вправе сказать, что тебя обманывают твои умозрения. Послушай: детство забавляется игрушками, юность забавляется мечтами, старость забавно важничает мнимою своею мудростью, и каждый играет свойственною ему игрушкою.

Я несколько отдалился от своего предмета; по крайней мере, вы видели, что невозможно заставить человека переменить свои мысли, не заставив его самого перемениться, т. е. что-нибудь потерять или что-нибудь приобрести.— Остается определить: в каких точно случаях мы приобретаем и в каких лишаемся. Я ничего не утверждаю и потому сделаю только несколько вопросов.

Что вы почитаете вернейшим способом к отысканию истины? — Рассудок и опыт.— Согласен.— Но положим, что вы имели одни только горестные опыты, что в детстве вы зависели от своенравного наставника; что в юности

вам изменила любовница, изменил друг, изменила надежда; что в старости вы остались одиноким и печальным.— Как вы опишете жизнь? Детство для вас будет временем рабства и бессилия; юность — временем мятежных снов и безумных желаний; старость — торжественным сроком, когда является истина и с насмешкой погашает свечу в китайском фонаре воображения.— Относительно к себе, вы совершенно правы; напротив, в детстве я ничего не знал, кроме радостей: добрая мать мне была снисходительною наставницею. Теперь имею веселых, любезных друзей, всею душою мне преданных; быть может, буду еще иметь подругу милую и верную; надеюсь, что старость моя согреется воспоминаниями о прежней разнообразной, полной жизни; что и в преклонных летах сохраню еще любовь к прекрасному, хотя не так живо его буду чувствовать; что сквозь очки еще с наслаждением буду смотреть на румяную молодость, а подчас и сам буду забавлять ее рассказами про старое время.— Положим, что такова будет жизнь моя; не правда ли, что, подобно вам, руководствуясь рассудком и опытом, я сделаю заключение совершенно противное вашему? и не будем ли мы здраво судить каждый в свою очередь?

Ежели ветреная молодость все разрушает, все очаровывает блестящим своим воображением,— брюзгливая старость не слишком ли все очерняет своею холодною недоверчивостью? и есть ли минута в жизни, в которую мы совершенно чужды того или другого предубеждения?

В каком случае мы приобретаем и в каком лишаемся? Истина, ежели в самом деле есть какое-то отвлеченное благо, которое мы называем истиною, не должна ли быть некоторым верховным наслаждением, способным заменить нам все прочие мечтательные или, лучше сказать, недостаточные наслаждения? Но мы видим совершенно противное. Мы теряем, удостоверяясь в том, что привыкли называть истиною; мы уважаем аксиомы опыта и между тем часто сожалеем о прелестных заблуждениях, которые некогда составляли наше счастье.

Старость имеет только то преимущество перед молодостью, что приходит после; она ко всему равнодушна потому, что не имеет страстей; она видит вчерне все предметы потому, что не способна их видеть иначе; она из всего выводит печальные заключения потому, что са-

ма печальна и, не быв еще лишена способности мыслить, должна присвоить себе какие-либо мнения. Но кто поручится за их беспристрастие?

Мы называем старость временем благоразумия и мудрости. Но положим, что она же со всею своею опытностию будет первым периодом нашей жизни, что за нею последует мужество, юность, наконец и детство. Старец, чувствуя новую жизнь, проливающуюся в его сердце, новые ясные мысли, которые мало-по-малу освежают его голову и разглаживают морщины на челе его,— не заключит ли довольно правдоподобно, что существо его начинает усовершенствоваться? Он слышит голос славы и честолюбия, летит на поле брани, спешит в совет к согражданам; он снова знакомится с прежними мечтами и думает: я опровергал рассудком то, что теперь ясно понимаю посредством страстей и воображения; я заблуждался, но время открывает истину.— Приходит и пора любви; он видит прекрасную женщину и удивляется, что до сих пор не примечал, что существуют женщины; он во многих предметах усматривает то, чего не усматривал до последней минуты. Он вспоминает прежние свои предубеждения и думает: Безумец! я хотел понять холодным разумом то, что можно только понять сердцем и чувством: ясно вижу свое заблуждение. Наконец, в детстве, пуская мыльные пузыри, он скажет, увидя за книгою старика — нового жителя мира: посмотри, это гораздо полезнее твоей книги.

В заключениях чудака, переходящего от старости к детству, вы найдете почти более логики, нежели в заключениях отрока, переходящего от детства к старости.

Поэтому нет истины? Кто вам говорит что-нибудь подобное? Но истина не есть ли вещь до крайности относительная? Каждый возраст, каждая минута нашей жизни не имеет ли собственные, ей одной свойственные истины? Предметы, нас окружающие, не так же ли относятся к нашему рассудку, как солнечные лучи ко внутреннему расположению наших глаз? Не безумно ли отречься от приятного чувства потому только, что другие называют его заблуждением? Не безумно ли называть человека безрассудным потому только, что поступки его нам кажутся безрассудными? Не странно ли писать рассуждение об истине, когда доказываешь, что каждый из нас имеет собственные свои истины?



ИСТОРИЯ КОКЕТСТВА

Венера почитается матерью богини кокетства. Отцом ее называют и Меркурия, и Аполлона, и Марса, и даже Вулкана. Говорят, что перед ее рождением, непостоянная Киприда была в равно короткой связи со всеми ими и, разрешившись от бремени, каждого поздравила на ухо счастливым отцом новорожденной богини.

Малютка, в самом деле, с каждым имела сходство. Вообще была она подобием своей матери; но в глазах ее, несмотря на их нежность и томность, было что-то лукавое, принадлежащее Меркурию. Тонким вкусом и живым воображением казалась она обязанною Аполлону. Марсу нравились ее свободные движения, доказывающие, по словам его, что отец ее был человек военный; добрый же Вулкан не обнаруживал своих замечаний, но ласкал малютку с истинно-родительской нежностью.

Все они имели одинакое право принимать некоторое участие в будущей судьбе новой богини, с равным усердием старались о ее воспитании. Жители Олимпа удивлялись быстрым ее успехам и превозносили необыкновенные ее дарования. Одна Паллада усмехалась им подозрительно, да иногда Амур поглядывал на молодую богиню с видом беспокойства и недоверчивости.

Многие недостатки были в ней заметны, особенно непомерное тщеславие. Она более любила высказывать свои знания, нежели любила самые науки; в угодительном ее обхождении с богами было более желания

казаться любезною, нежели истинного благонравия. Ко всему она имела некоторое расположение, ни к чему настоящей склонности, и потому никем и ничем не могла заниматься долго. Непостоянство ее, может быть, происходило от ее генеалогии, но усовершенствовалось своевольным ее воспитанием. «Наставники ее недальновидны,— говорила иногда Паллада (которая кстати и не кстати любила-таки похвастать своим глубокомыслием и мерною прозою произносить торжественные изречения),— наставники ее недальновидны: поверхностное обо всем понятие составит удивительный хаос в голове ее. Они стараются усовершенствовать ее дарования, образовать вкус и развить воображение, но некому просветить ее разума и наставить сердце. По-моему, она не доставит особенной чести Олимпу».

Давно уже достигнув совершеннолетия, пресытясь однообразными похвалами богов ее остроумию, красоте и любезности, может быть, несколько завидуя Грациям, помраченным ею сначала, но которым мало-помалу стали отдавать справедливость, новая богиня упала к ногам Юпитера и выпросила себе дозволение переселиться на землю.

В последний день ее пребывания на Олимпе пригласила она богов на прощальное пиршество. Приветливость ее при угощении, соединенная с некоторою задумчивостью, тронула бессмертных; все оставили ее с некоторою грустию; правда, каждому из них дала она почувствовать, что одна разлука с ним заставляет ее жалеть об Олимпе.

Богиня сначала поселилась в Греции, однако ж не имела в ней храмов. Народы, принявшие ее за любезность, поздно заметили свою ошибку и стали подозревать существование новой богини. В обхождении некоторых прелестниц, в блестящих, но неосновательных сочинениях многих софистов ощутительно стало ее влияние. Раздоры, возгоревшиеся между наследниками Александра Македонского, раздоры, наполнившие Грецию ужасом и кровью, отвлекли их внимание, и самую богиню принудили искать другого убежища; она переселилась в Рим.

Худо ее приняли в Риме. Изнеженность ее нрава и слишком вольное обращение не полюбилось строгим республиканцам. При триумвирах было ей лучше, но нем-

ногим: *буйный разврат* столь же противоречил ее свойству, сколько чрезмерно строгие обычаи.

Дикие племена, завоевавшие Рим, изгнали ее из сей столицы вселенной. Здесь история ее становится темною: иные говорят, что, до самого ее возвращения в Европу, странствовала она по Азии и Африке; другие, что она провела это время в уединении, придумывая способы для будущего своего величия.

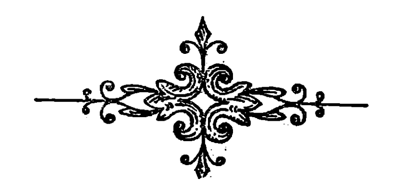
Как бы то ни было, но в XVIII веке торжественно явилась она в Италии и во Франции с молодою, прелестною дочерью, не уступающею своей матери в непостоянстве, своенравии и проворстве; дочь сия была Мода. Подобно Юпитеру, отцу Паллады, богиня зачала ее в голове своей и также счастливо разрешилась от бремени. Народы приняли ее с восторгом. Воздвиглися храмы, и воскурились жертвы. Обрадованная усердием галлов, богиня основала свое пребывание между ними.

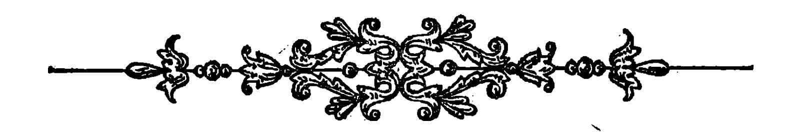
На берегах Сены, посреди великолепного сада, возвышается столичный храм ее. Витые золотые колонны поддерживают его купол. На барельефах изображены разные двусмысленные аллегории, поныне еще неразгаданные, например: в одном месте представлена она подающею руку Амуру, вместо дурачества, которому грозит пальцем, чтобы оно молчало; в другом — побеждающею богиню красоты; в третьем — наряжающею Граций и проч. Многие приняли сии аллегории в выгодном значении для богини, другие совершенно напротив. Кто-весть, говорили они, какой путеводитель выгоднее для Амура: дурачество увлекало его силою, кокетство завлекает обманом. Что лучше? Искусство превышает природу! Жаль, ежели это правда! Наряженные Грации похожи на прелестниц, и тому подобное. Внутри храма, в зеркальной, освещенной кенкетами зале таится непонятная богиня. Мечты блестящие, но почти не имеющие образа (так быстро они переходят из одного в другой), вьются, волнуются перед нею. Мусикийские орудия, отличительные знаки всех искусств, разные игрушки, выдуманные прихотью, небрежно около ее разбросаны. Тут-то проводит она время, примеряя наряды, вымышленные ее дочерью, и приучая лицо свое к разного рода выражениям. В известные дни принимает она своих обожателей и издает свои прорицания; ласковость ее обхождения привлекает каждого; разнообразные дарования,

полученные ею от Олимпийских ее наставников, заслужили ей уважение людей всякого состояния, всяких понятий, всякого нрава: даже два великие, хотя разнородные, гения последнего времени, Фридрих III и Вольтер, не пренебрегали ее советами. Не говорю уже о женщинах: кокетство можно назвать политикою прекрасного пола.

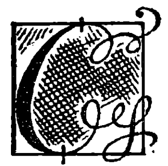
По прошествии некоторого времени, богиня заметила однако ж разительное охлаждение в мужской половине своих поклонников. Ужас объял ее сердце; но ум ее, богатый вымыслами, скоро внушил ей способ оживить их усердие. Она удвоила свою приветливость, даже казалась нежною наедине со многими. Нового рода надежда закралась в их сердце и совершенно его взволновала, когда в приемной зале богини увидели посетители несколько новых картин довольно замечательного содержания. На них изображены были некоторые приключения жителей Олимпа, где они являлись довольно благосклонными к бедным смертным: Диана, посещающая Эндимиона; Киприда, ласкающая Адониса, и пр. Внизу надписано было: *Для любви не существует разницы между смертными и богами.* Хитрость сия удалась богине: охлажденные поклонники превратились в пламенных искателей; и хотя никому еще не сдержала она нежного своего обещания, но все надеются, что она сдержит его некогда, и храм ее никогда не бывает празден.

Ученый антикварий, собравший материалы для сей достоверной истории, собрал их прежде Французской революции и, сделавшись жертвою ее, не мог продолжать занимательного труда своего. Если верить слухам, то ужасы возмущения сильно и благодетельно подействовали на сердце богини; говорят, что она отреклась от божества своего и даже сама сделалась набожною. Живет уединенно, читает полезные книги и вздыхает о прежних своих заблуждениях. Время покажет, справедливы ли сии слухи, и чистосердечно ли ее обращение.





<ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «НАЛОЖНИЦА»>



Сочинение, представляемое теперь публике, одно из тех, которые журналисты наши обыкновенно называют безнравственными, хотя обвинение в безнравственности довольно странно в государстве, имеющем цензуру, и где *печатать позволяется,* являющееся на первом листе книги, уже ручается за безвредность ее содержания.

Странно также, что г-да журналисты, позволяя себе столь неприличные обвинения, называя развратными произведениями: Руслана, Онегина, Цыган, Нулина, Эду, Бал, и потому имея полное право поместить в тот же разряд и Наложницу, до сих пор не определили, в чем, по их мнению, состоит нравственность или безнравственность литературных произведений.

Постараемся решить вопрос, равно важный для писателей и для читателей.

Журналисты наши выразили некоторые положительные требования: воспевайте добродетели, а не пороки, говорили они; изображайте лица, достойные подражания; пишите для назидательной нравственной цели — не замечая, что каждое из сих требований противоречит другому.

Изобразить какую-либо добродетель значит заставить ее действовать, следственно подвергнуть испытаниям, искушениям, т. е. окружить ее пороками. Где нет борьбы, там нет и заслуги. Следственно, лицо, достойное подражания, не может выказаться иначе, как между лицами, ему противуположными.

Что такое нравственная цель литературного произведения? В чем состоит она? Есть люди, называющие нравственными сочинениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель. Мнение это некоторым образом противно нравственности, истине и религии. Ежели бы добродетель всегда торжествовала, в чем было бы ее достоинство? Этого не хотело провидение, и здешний мир есть мир испытаний, где большею частью добродетель страждет, а порок блаженствует. Из этого наружного беспорядка в видимом мире и феологи и философы выводят необходимость другой жизни, необходимость загробных наград и наказаний, обещаемых нам откровением.

Нравственное сочинение не состоит ли в выводе какой-нибудь философической мысли, вообще полезной человечеству? Но чтобы в самом деле быть полезною, мысль должна быть истинною, следственно, извлеченною из общего, а не из частного. Как же, изображая только добродетель, играющую довольно второстепенную роль в свете, и минуя торжествующий порок, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но необходимо ложную, следственно вредную.

Нет, скажут наши противники, мы не требуем, чтобы вы изображали одну добродетель: изображайте и порок, но первую привлекательною, второй отвратительным.

Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны шуточные стихи Панара:

Trop de froideur est indolence,
Trop d'activité turbulence,
Trop de rigueur est dureté,
Trop de finesse est artifice,
Trop d'économie avarice,
Trop d'audace témérité,
Trop de complaisance est bassesse,
Trop de bonté devient faiblesse,
Trop de fierté divient hauteur, etc.*

* Избыток холодности есть бесстрастие, избыток деятельности — шумливость, избыток суровости — жесткость, избыток тонкости — хитросплетение, избыток бережливости — скупость, избыток удальства — безрассудность, избыток угодливости — низость, избыток доброты становится слабостью, избыток гордости — высокомерием и т. д. *(фр).*

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями; но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был бы добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного.

Характеры смешанные, именно, те, которые так не любы г-дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает. Федра, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федра, ей уступающая,— две противуположные Федры: мы любим добродетельную, ненавидим порочную, и здесь мы не можем ошибиться, не можем принять добродетель за порок и порок за добродетель. Действия не смешаны, как характеры; действие добродетельное совершенно прекрасно, действие порочное совершенно безобразно, и нравственный вывод, о котором так хлопочут г-да журналисты, хлопочут до того, что ради оного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные,— этот нравственный вывод внушает нам, без всяких посторонних соображений, всякое лицо, верно снятое с природы.

Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое возбуждает в нас герой трагедии, романа, поэмы даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению? Не говорит ли нам наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие? Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участия, не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей на победу преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало под силою обстоятельств, превышающих нравственную его силу. Побежденные трояне возбуждают на-

ше участие потому, что они защищались до последней крайности; побежденные, они не ниже победителей; расчетливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей Трое, и никто не сравнивает ее коменданта с божественным Гектором.

Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противустоять им.

Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственною. Что, например, хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательно неистового честолюбца, жадного битв и побед, стоющих так дорого роду человеческому; кровь его не ужасает; чем больше ее прольет, тем он будет счастливее; чем далее прострет он опустошение, тем он будет славнее; и эту книгу будут читать юные властители! — Что хуже Гомера? В первом стихе Илиады он уже показывает безнравственную цель свою, намерение воспевать порок:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!

Раскроем даже Ивана Выжигина, творение г. Булгарина, писателя, который всех настоятельнее требует нравственной цели от современных сочинений. Найденыш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью, помогает какому-то удальцу увезти дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом ведет жизнь бродяги, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам; получает толчок от одного офицера, за который не сердится; присваивает себе чужое имя; наконец наследует два миллиона денег, женится по любви и живет в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечете, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придет вам на ум, кроме старой русской пословицы: не родись ни хорош, ни умен, а родись счастлив; но что в ней назидательного?

Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочине-

ния и, из следствия в следствие, заключить с логическою основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу.

В таком случае должно запретить и человека. Но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой незваный критик решится воспретить ему дозволенное провидением и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться своим разумом, значит унизить его до животных, его лишенных.

Сами г-да журналисты, вероятно, на это не согласятся: их постигла бы общая участь человечества.

Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно на уничтожение человека, не благоразумнее ли взглянуть на нее с другой точки зрения: не требовать от нее положительных нравственных поучений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней *сведений*, а ничего иного?

Знаю, что можно искать в ней и прекрасного, но прекрасное не для всех; оно непонятно даже людям умным, но не одаренным особенною чувствительностью: не всякий может читать с чувством, каждый с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествие. Странствователь описывает вам и веселый юг, и суровый север, и горы, покрытые вечными льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота, поросшие тиною, и целебные, и ядовитые растения. Романисты, поэты изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, в географах: известий о любопытных вам предметах; требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний.

Читайте землеописателей, и, не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятие об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не испытанные; нравы, выражение которых, может быть, вы бы сами не заметили; узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели; приобщите

к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше.

Ежели показания их верны, впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней провидением, конечно, не развратительно, и мир действительный никого еще не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!

Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?

Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное понятие.

Иностранные литературы имеют книги, по счастию неизвестные в нашей: это подробные откровения всех своенравий чувственности, подробные хроники развращения. Несмотря на то, что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания не полны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжелой усталости; какое отвращение возбуждают тогда в развратнике воспоминания нечистых его наслаждений! Выразите так же полно чувство последующее, как полно выразили предыдущее, и картина ваша не будет безнравственною: одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастие, злоупотребляющее силами юности, опишите и следствия злоупотребления. Представьте нам раннюю, болезненную старость сластолюбца, раннюю неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, позволенным; ранний упадок умственных его способностей. Что будет поучительнее изображения преждевременно поседевшего разврата, в страданиях благоприобретенного недуга, смешащего не природным, но заслуженным тупоумием? И в этом изображении не будет ничего насильственного.

Невоздержность телесная приемлет мзду свою еще в здешней жизни; временное тело обретает ее во времени,

между тем как неумирающий дух находит ее только в вечности.

С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения, вакхические и застольные песни. Не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата, в эротической поэзии чувственность обыкновенно уравновешивается чувством, и большая разница — живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать своенравия разврата, которые нельзя удовлетворить без преступления. Славить вино и обеды не значит проповедывать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевавший иногда красоту и пиршества; Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях; Богданович, который

Киприду иногда являл без покрывала;

Батюшков, Пушкин, написавшие несколько эротических элегий и вакхических песней, конечно, не безнравственные писатели. Не говоря уже о том, что сии писатели не ограничивались выражением одного чувства; что подражатель Анакреона в то же время певец Фелицы, певец бога; что автор стихотворения *Счет поцелуев* в то же время творец Ермака и преложитель высоких песней Давида; что Душенька изобилует не одними сладострастными картинами; что между шаловливыми стихотворениями Батюшкова есть и унылые, есть и высокие; что автор Руслана в то же время автор Годунова; и что никто не принуждает читателя в целой книге стихотворений твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое, впечатление которого исправит впечатление первого; вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку; и ежели действие не вредит доброй славе одного, еще менее его описание может вредить доброй славе другого.

Тем менее, что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований; что упрекать в разврате эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакреон не желал быть Гомером, Проперций — Виргилием, Шольё — Расином и т. д.? Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает дей-

ствительность и тем он нравственнее. Но только Гомеры, Шекспиры являют нам полный мир в своих творениях. Дарования односторонние обрекают других на изображение частностей. Произведение одного имеет нужду быть поясненным, пополненным произведением другого, и писатели сего рода только в своей совокупности доставляют нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель.

Или не читайте, или читайте всё: иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием все равно, что читать одну страницу в писателе многообъемлющем. Раскройте Шекспира на монологе злодея, искусными софизмами ободряющего себя к преступлению, остановитесь на нем — и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния; но прочтите всё творение, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна: так и книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке.

Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Но нянька не позволяет ребенку играть ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, несообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет и можем всё видеть и всё слышать, мы можем и всё читать; и как не мир, а мы сами виновны, когда злоупотребляем жизнию, так не писатели, а мы сами виноваты, когда злоупотребляем чтением.

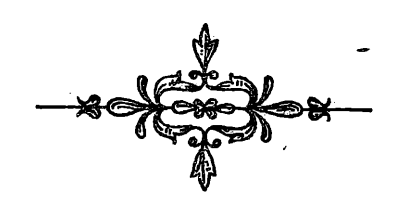
До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвященных изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений, но не говорили о книгах, писанных для доказательства того или другого мнения, книгах, писанных с положительною нравственною целью.

Книги сего рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Мнение тогда только полезно и нравственно, когда оно справедливо; но всякий чувствует (не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием и который нельзя сравнивать со вредом, причиняемым неверным изображением характера, страсти или картины), всякий чувствует, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особенно пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от превратных

нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие! Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин не относительных, следственно, мало книг, писанных с нравственною целью, т. е. посвященных выражению одной избранной мысли, которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравновешивать чтением других, им противуречащих.

Заключим, и надеемся, так заключит с нами и читатель, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противуречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги.

Просим читателя судить о нравственном достоинстве Наложницы по правилам, нами изложенным, а не по правилам, исповедуемым г-дами журналистами, по нашему мнению, довольно необдуманным.





ПЕРСТЕНЬ

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство,— словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права,— конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился однакож испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного,— правда, ему незнакомого, но весьма

богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя,— к счастию, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однакож, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! — сказал он со вздохом жене своей,— еще раз попробую счастья»,— обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лоша-

дей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить: он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами,— Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень; наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля твоя!» — сказал он. «Это ваш перстень,— продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину,— и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать: но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

«Вам надобно десять тысяч,— сказал Опальский,— завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?»

«Помилуйте,— вскричал восхищенный Дубровин,— что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить...»

«Вы ничем мне не обязаны,— прервал Опальский.— Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось) этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам».

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненьи. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень? — думал он.—Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

«Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным.— Боже! что с нами будет!» Но, не желая умножить его горести: «Утешься,— прибавила она голосом более мирным,— бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем».

«Мы счастливее, нежели ты думаешь,— сказал Дубровин.— Опальский дает десять тысяч... Все слава богу».

«Слава богу? отчего же ты так печален?»

«Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?»

«Знаю, как ты, по слухам... но ради бога...»

«По слухам... только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?»

«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свида-

ния с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне,— сказала она.— Какая скрытная! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однакож он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом,— сказал Дубровин,— я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» — На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от

которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником... Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон-Педро де-ла-Савина владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

«Чего ты хочешь?» — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию... Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Мариею»,— отвечал он голосом твердым.

«Можешь, но с условием».

Антонио задумался. «Согласен! — сказал он, наконец,— но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?»

«Будет,— отвечал дух.— Следуй за своею тенью». Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла,— Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под

ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. «Готов ли ты?» — вопросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов»,— отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может легким в сравнении с его преступлениями.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. «Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве,— сказал он ей: — как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя Мария».

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящею рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. «Что, проклятый чернокнижник,— закричал

дон-Педро, увидя входящего Антонио: — ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! жди меня в передней!»

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон-Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон-Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на жену мою,— сказал он.— Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь? — закричал дон-Педро: — ступай, ступай, не останавливайся!»

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» — закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то...» — отвечал Антонио. «Благодарю»,— сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух,— Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп,— подумал он напоследок: — это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

«Марья Петровна, вы ли это? — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину.— Какими судьбами?»

«Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька,— прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею.— Не узнаешь? ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел бог еще раз увидеться!»

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом,— сказала Марья Петровна,— вы живете господами».— «Слава богу!— отвечала Александра Павловна,— а чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому».— «И моему перстню»,— прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? какому перстню? — вскричала Марья Петровна.—Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне <его> видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый,— продолжала Марья Петровна: — перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочи-

нения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон-Педро де-ла-Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень,— сказал Дубровин: — с чужого коня и среди грязи долой».—«И, батюшка, что мне в нем?» — отвечала Марья Петровна. «Не шутите им,— прервала Александра Павловна,— он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же».— «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» — спросил Дубровин.— «Слава богу,— отвечал слуга: —вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина: «Любезный Дубровин,—сказал он ему,—кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие,—вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила: «Преступления мои велики,— продолжал он после долгого молчания.— Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои бог милосердый и праведный».

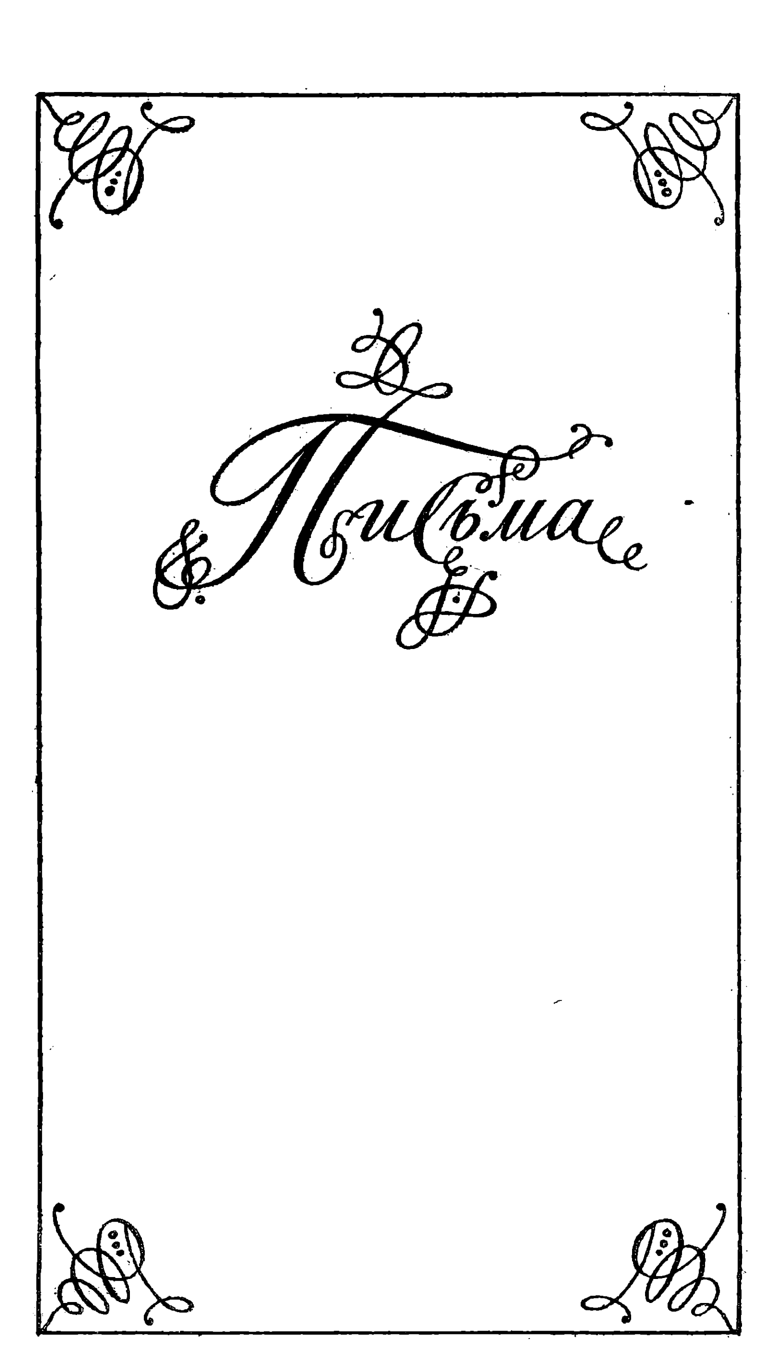
Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

«Он скончался,— сказал священник, выходя из комнаты,— но успел совершить обязанность христианина. Господи, приими дух его с миром!»

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят бога помиловать душу их благодетеля.




Письма

А. Ф. Баратынской

1

<1814 — начало 1816 г. Петербург> [1]

Дражайшая маменька,

Я только что получил ваше письмо и не могу выразить вам радость, которую я ощутил, видя, что вы меня по-прежнему любите и прощаете мне мои проступки. Мне в самом деле необходимо было это утешение. Оно примирило меня с самим собою, и мне теперь ясно, во сколько раз это предпочтительнее всех удовольствий рассеяния. Я провожу каждый праздник у дяди [2], который был так добр, что взял для меня учителя математики, и я уже сделал в ней довольно значительные успехи. Осмелюсь ли я повторить вам мою просьбу касательно морской службы. Я умоляю вас, милая маменька, об этой мне милости. Мои интересы, которые вам так дороги (говорите вы), этого настоятельно требуют. Я знаю, насколько вашему сердцу должно быть тяжело, что я вступлю в службу столь опасную. Но скажите, знаете ли вы какое-либо место в мире, хотя бы вне области океана, где бы жизнь человека не была подвержена тысяче опасностей, где бы смерть не похитила сына у матери, отца, сестру? Везде малейшее дуновение может разрушить эту слабую пружину, которую мы называем жизнью. Что бы вы ни говорили, милая маменька, есть вещи, от нас зависящие; другими же управляет провидение. Наши поступки, наши мысли зависят от нас; но я не могу допустить, чтобы наша смерть зависела от выбора службы на суше или на море. Как! возможно ли, чтобы судьба, которая предназначила конец моему поприщу, исполнила бы свой приговор на Каспийском море и не могла бы поразить меня в Петербурге? Я умоляю вас, милая маменька, не

противиться моей наклонности. Я не могу служить в гвардии: ее слишком берегут. Во время войны она ничего не делает и остается в постыдном бездействии. И вы назовете это жизнью? Нет, беспрерывный покой не может назваться жизнью. Верьте мне, милая маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме бездействия и скуки. Я бы даже предпочел в полном смысле несчастие — невозмутимому покою. По крайней мере живое и глубокое чувство захватило бы мою душу, по крайней мере сознание моих бедствий удостоверяло бы меня в том, что я существую. В самом деле, я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, что бы меня занимало,— иначе я скучаю. Представьте себе, милая маменька, грозную бурю и меня, стоящего на палубе, как бы повелевающего разъяренному морю, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию, — произведению человеческого гения, повелевающего стихиями. А затем я буду писать к вам, как можно чаще, о всем том, что увижу прекрасного. Подумайте еще, милая маменька, что вместо того чтобы увидеться через пять лет, мы увидимся через два года. Через два года, милая маменька, я вас обниму, буду смотреть на вас, буду говорить с вами! Милая маменька, понимаете ли вы мою радость? Останетесь ли вы к ней равнодушны? Мне это не верится. И если даже судьба предназначила мне погибнуть через несколько лет на море, я бы имел случай увидеть вас, я бы насладился этим счастьем. Несколько мгновений радости, счастья не заменят ли они собою длинный ряд скучных годов? Итак, милая маменька, я надеюсь, что вы не откажете мне в этой милости. Вы говорите, что вы очень довольны моею склонностью к умственным занятиям; но признайтесь, что нет ничего смешнее молодого человека, который выставляется педантом, считает себя автором, потому что перевел две-три странички Эстеллы Флориана, в которых до тридцати орфографических ошибок и напыщенный слог, который он почитает живописным, и убежден в том, что он вправе критиковать все, не будучи еще в состоянии оценивать те красоты, которыми он восхищается, и проникаться ими; потому только, что другие восторгаются ими, он превозносит их с упоением, между тем как он даже никогда не читал их. В самом деле, милая маменька, во мне есть этот недостаток, и я стараюсь от него отделаться. Я час-

то восхвалял Илиаду, хотя читал ее в Москве и в таком раннем возрасте, когда не мог не только быть проникнутым ее красотами, но даже понимать ее содержания. Я слышу, что ею везде восхищаются, и расхваливаю ее, как обезьяна. Я знаю людей, которые не дают себе труда мыслить и предоставляют общественному мнению установить их убеждение, и эти люди, не исключая и моего благородия, очень похожи на автоматов, приводимых в движение посредством пружин, сокрытых в их теле. Вот чрезвычайно длинное письмо, я боюсь вам уже слишком наскучить.

Прощайте, милая маменька. Дай бог нам скоро увидеться. Остаюсь вашим покорным слугою, по обычаю, и вашим послушным, нежным, благодарным сыном, по сердцу.

Евгений Баратынский

P. S. Прошу вас прислать мне полотенца, ибо у меня осталось только два.

2

<Январь 1818. Тамбов>

Мы уезжаем через два часа, любезная маменька, и я хочу сказать дважды прощай этой земле, которая мне так дорога. Что бы там ни говорили — небезразлично, близко ты или далеко от тех, кого любишь. Большие расстояния ужасают и леденят сердце. Я покидаю Тамбов почти с таким же огорчением, что и Мару. Пока мы оставались в этом городе, я не ощущал в полную меру предстоящего отъезда. Но я не хочу добавлять свои горести к вашим. Прощайте, любезная маменька, будем надеяться на скорую встречу. Лишь ожидание может сделать для меня ваше отсутствие выносимым. Я хотел бы вам сказать еще тысячу вещей, но на сердце моем такая тяжесть и мои мысли так грустны, что я не могу и не решаюсь вам изъяснить их.

Что делает моя дорогая Софья? [1] Она тоже, без сомнения, грустит. Попросите ее не предаваться скорби, которая может подорвать ее здоровье. Она принадлежит мне, и я хочу, чтобы она берегла себя для меня. Я видел ее милую подругу; я с ней не поговорил, но смотрел на

все очень внимательно. Какая интересная особа! Она не красива, но можно ли видеть ее и не полюбить! Какая нежность в ее глазах! Какая скромность в манере держать себя! Она говорит так проникновенно, и я не удивляюсь тому, что Софья к ней так привязана. Она этого вполне заслуживает. Я сказал ей, прощаясь с ее сестрами, что Софья вспоминает ее, что Софья говорила мне о ней, что Софья передает ей тысячу приветов. Если бы вы видели выражение ее лица, пока я говорил. Вначале она испугалась, но потом ответила мне в обычных выражениях, но с каким огнем! с какой силой! с каким изяществом! Ее лицо запечатлелось в моем сердце. Я увожу его с собой. Мне кажется, что, уезжая из Мары, я простился с дружбой, а уезжая из Тамбова, я простился с любовью. Если бы я мог, вернувшись сюда однажды, оказаться между этими двумя дивными, милыми созданиями! Еще раз прощайте, любезная маменька. Я живу только надеждой свидеться с вами вновь.

Евгений Б.

3

<16 августа 1825. Выборг>

Пишу вам из Выборга, любезная маменька. Слава богу, наши парады закончились, и мы уже на пути к этой Финляндии, которая еще недавно казалась мне ссылкой, а теперь я почитаю ее лишь спокойным и приятным местом. Утомительная и рассеянная жизнь, которую я вел в Петербурге, вынудила меня к перерыву в нашей переписке; теперь я ее возобновляю; в то же время я усиленно размышляю над тем, как мне должно устроить свою жизнь теперь, когда я могу располагать собой. Это положение мне несколько внове: до сей поры я жил, не думая о будущем, поскольку у меня, можно сказать, его не было. Став, наконец, свободен, я хотел бы извлечь все возможное из того, что я видел и о чем думал до сей поры, из того, что я знаю о себе и других; я хотел бы, чтобы прожитые дни не были для меня днями потерянными.

Я надеюсь провести по крайней мере шесть месяцев около вас. Только не знаю, пущусь ли я в путешествие в октябре, или подожду санного пути. Мне хотелось бы знать, что вы решили насчет Сержа[1]. Необходимо, что-

бы он приехал в Петербург с дворянскими грамотами, без них история будет длиться бесконечно долго. Как только он предъявит их, его примут в заведение, о котором я говорил, и я почти уверен, что при его способностях и благодаря людям, которые могут замолвить за него слово, он останется в штабе. Закревский [2] приедет на зиму в Петербург, я думаю, что он не откажется оказать содействие моему брату; ему достаточно будет сказать лишь два слова. Я уеду на несколько дней в Гельсингфорс, прежде всего чтобы поблагодарить генерала за все, что он сделал для меня, а также чтобы возобновить мои отношения с ним. Я видел г-жу Закревскую [3] в Петербурге: она приезжала туда посмотреть празднество в Петергофе и привезла с собою молодую финляндку, чтобы показать ей чудеса столицы. Мы бегали по городу вместе. Моя поездка в Гельсингфорс будет развлечением и в то же время исполнением долга. Прощайте, маменька, любезная.

Желаю вам доброго здоровья, и да хранит вас бог. Завтра мы покидаем Выборг и 30 сего месяца будем в Роченсальме.

4

<Зима 1839. Мураново?>

Мы получили вместе с обозом тетеньки Софьи Ивановны [1] столько знаков вашей доброты, любезная маменька, что просто даже не знаю, как вас за все и благодарить. Платье для малышки [2] прелесть; мы тут же его примерили, и в таком наряде она впервые прошлась не только по своей комнате, но и по другим. Ваше превосходное варенье украшает стол на частых наших небольших приемах, а сверх того моя жена и Наташа [3] частенько лакомятся им вдвоем. Завтра я уезжаю в Петербург. Мне пришла фантазия воспользоваться тем, что это путешествие так легко совершить в дилижансе,— чтобы провести недельки две в обществе моего брата [4], золовок [5] и моих старых друзей. Есть также одна более серьезная причина: мне представился благоприятный случай выгодно продать Смирдину — единственному из наших издателей, обладающему капиталами,— право на третье издание моих рифм, присовокупив к ним грех еще одного тома [6]. Деньги, которые я при этом получу, стали бы

большим подспорьем для моей поездки в Крым [7]. Вот уже 15 лет как я не бывал в Петербурге и 15 лет как не видался с теми людьми, с которыми некогда был тесно связан. Я застану сильную перемену. Возможно, что это произведет на меня грустное впечатление; возможно, оно будет из тех, что накладывают последнюю печать на зрелый возраст. Надо с этим мириться. Прощайте, любезная и добрая маменька, я и ваши внуки нежно целуем ваши ручки.

Е. Баратынский

5

<Начало зимы 1841. Артемово [1]>

Мы живем в таком глубочайшем уединении, любезная маменька, что единственные новости, которые я могу сообщить вам, это новости о нашем здоровье,— с ним, слава богу, все обстоит благополучно. Подмосковная зимой является мирным убежищем, абсолютной тишиной в сравнении с деревнями средней России. Надо вам сказать, что здесь уже вполне зимняя погода, земля покрыта снегом и установился санный путь. Мы хотели починить четырехместный возок — он мог бы служить для наездов в Москву, которые мы время от времени совершаем, но отказались от этой мысли, ввиду того, что проселочные дороги в этом лесном крае настолько узки, что в большом экипаже невозможно выехать на шоссейную дорогу. Эти дороги различимы по следам полозьев от крестьянских саней — в тех редких случаях, когда крестьянин наведывается в соседнюю деревню. Все помещичьи дома вокруг пусты. Мы столь мало рассчитываем на чьи бы то ни было посещения, что в нанятом нами большом доме, построенном на старинный лад (следовательно, крайне неудобном расположением комнат), мы оставили только черный ход — и для того, чтобы спастись от сквозняков, и чтобы разместить наших людей, к которым прибавилась французская гувернантка — она дает также уроки музыки и рисования, и преподаватель латыни, русского языка и математики. В прихожей, дверь которой, выходящая на крыльцо, закрыта наглухо, нашла себе приют француженка. Время наше протекает совершенно единообразно. Часы отличаются один от

другого лишь тем, по какому предмету берут уроки наши дети и, в особенности, какие музыкальные пьесы они разучивают — это указывает нам, какое время дня наступило. У Сашеньки [2], должно быть, большие способности к рисованию. После нескольких уроков, которые ей преподал учитель, она делает удивительные успехи, хотя сам учитель — посредственность. Можно надеяться, что со временем она сможет более серьезно усовершенствоваться.

Что касается меня, то я был все это время занят своей лесопилкой. Наружная постройка закончена, и недели через две я смогу запустить и машину.

Я надеюсь, любезная маменька, что это письмо застанет вас в добром здравии. От всего сердца целую ваши ручки, а также ручки дорогой тетеньки.

Е. Баратынский

6

<Лето 1842 г. Артемово>

Похвалы, которые вы воздаете моей книге [1], любезная и добрая маменька, являются для меня самыми сладостными, самыми лестными изо всех когда-либо мною полученных. Зато я и насладился ими со всей наивностью, со всем здравым смыслом удовольствия, на какое я способен. В настоящую минуту я весьма далек от литературного вдохновения, но издали приветствую ту пору, когда моя постройка [2] будет закончена, когда у меня будет меньше действительных забот (не будет, может быть, воображаемого отдыха), и которая привлекает меня мыслью о возобновлении моих былых занятий. Вы, конечно, понимаете, что я оснуюсь в деревне на довольно продолжительное время. Моя усиленная деятельность происходит, в сущности, лишь от большой потребности в отдыхе и душевном покое. Наш дом сейчас очень напоминает маленький университет. У нас пять чужих человек, среди которых судьба доставила нам превосходного учителя рисования [3]. Наша мало расточительная жизнь и доход, который мы надеемся извлечь из лесного хозяйства, позволяют нам много делать для образования детей, пока же они и их учителя оживляют наше одино-

чество. Этой осенью мне предстоит удовольствие, новое для меня,— сажать деревья. У нас хороший, старый садовник, любящий свое дело, и я рассчитываю на его благие советы. Прощайте, милая маменька. Нежно целую ваши ручки, так же как и ваши внучата.

7

<Конец лета 1842. Артемово>

Я бесконечно долго не писал вам, любезная и добрая маменька; дело в том, что все это лето прошло у меня в волнении и беспокойстве и я все откладывал свое письмо до лучших времен, которые никак не наступали. Я взялся за такие хозяйственные дела, которые принесли мне забот более, чем я мог это предвидеть; в особенности, формальности с опекой, о которых и не подозревал и которые повлекли за собой столько хлопот. Слава богу, все мало-помалу уладилось, и у меня остались только обычные заботы, которые уже не столь сложны. За год, прожитый мною здесь, я построил лесопилку, дощатый склад и свел 25 десятин леса; почти что достроил дом. Новый дом в Муранове уже стоит под крышей и оштукатурен внутри. Остается настелить полы, навесить двери и оконные рамы. Получилось нечто в высшей степени привлекательное: импровизированные маленькие Любичи [1]. Надеюсь в него вселиться в конце августа. У меня было много разочарований: из шести человек, которых я нанял в разных деревнях для обслуживания лесопилки и которые летом должны были помогать на стройке дома <нрзб. 1 слово>,— трое были постоянно больны и в настоящее время лежат в больнице. И все же я довольно хорошо справился с хозяйственными делами. Я избавился от проса, которое мне доставили из Вяжли [2], продав его дороже 50 р. за четверть, а зерно, привезенное из Скуратова [3],— по 28. Все это время у меня постоянно было до пятидесяти рабочих, которых я кормил; а в настоящее время их осталось тридцать. Капитал, который представляет собой 25 десятин леса по нынешним ценам, доказывает, что я не ошибся в расчетах. Я ожидаю сентября месяца, когда появляются покупатели на такого рода товар; и если мне улыбнется счастье, то я смогу поздравить себя с успешным хозяй-

ствованием. Позвольте вам представиться: я Бальзак чистой воды, поскольку думаю этой зимой попробовать свои силы и написать роман в его духе. Нежно целую ваши ручки и обещаю вам впредь не предпринимать ничего такого, что могло бы меня отучить от писем.

Е. Баратынский

8

<Осень 1842. Москва>

Как я благодарен вам, любезная маменька, за ваше письмо, исполненное доброты. Оно меня так приятно взволновало и переполнило сердце такой признательностью, какую я не сумею выразить. Почему вы извиняетесь за то, что редко пишете письма? Можно ли допустить, что вы способны забыть нас, и не должен ли я всегда надеяться, что ваше молчание не означает, что вы меня обходите своей сердечной заботливостью. Похоже, Наташе [1] нравится в Москве, и я весьма счастлив, что могу доставлять ей приятные развлечения. Она разыскала тут старых знакомых и завязала несколько новых знакомств. Ее присутствие оживляет наше постоянное общество, и если ей случается <нрзб. 1 слово> развеселиться, то этим она больше обязана самой себе, нежели нам. Недавно у нас состоялся литературный вечер. Павлов [2] прочел нам новеллу, которую недавно закончил; она свидетельствует о замечательном таланте. Вечер закончился оживленным спором.

Я все еще пребываю в строительных заботах. Они меня крайне утомили. Я сделал несколько ошибок, но, по счастью, не очень важных и сумел их исправить. Целую вам ручки, любезная маменька, и прошу вашего благословения себе и вашим внукам.

Е. Баратынский

9

<Начало зимы 1842. Мураново>

Если меня, любезная маменька, что-либо и извиняет за мое долгое молчание, то это сильное переутомление, расстройство нервов, причиной чему — наш переезд в

деревню, собственно говоря до сих пор так и не законченный. Еженедельно приходится что-то доделывать, и стук молотка еще не перестал раздаваться в доме. Он красивый, удобный, но я к нему еще не привык и весьма далек от того, чтобы наслаждаться тем удовольствием от владения им, радоваться тому плоду вложенного труда и испытывать то удовлетворение от завершенного дела, о котором я наслышан. Хорошо, когда на это дело затрачено только шесть дней; но шесть месяцев — это уже нечто совсем иное, и когда достигаешь результата, набиваешь себе оскомину.

Наш образ жизни остается прежним; уроки детей следуют один за другим по расписанию и в известной мере отражаются на распределении нашего времени. Старшие дети радуют нас своими успехами. Младшие еще не достигли того возраста, когда учение может нравиться; но и они постепенно движутся вперед. Моя торговля лесом идет неплохо. Для меня это совершенно новое занятие и благодаря этому в известной мере увлекательное. По имеющимся у меня сведениям у нас все хорошо уродилось; но я предполагаю, что цены — не считая цены на рожь — будут довольно низкими. Мое пребывание в деревне и некоторые хозяйственные достижения дадут мне возможность воздержаться от продажи того зерна, цена на которое окажется слишком низкой, и создать его запас — о чем я давно мечтал. С божьей помощью это даст мне большие преимущества в будущем: регулярный и удовлетворительный доход. Вот мы почти и дожили до Рождества. Желаю вам счастливых праздников, любезная маменька, а также тетеньке [1], моим сестрам и братьям. Да хранит вас господь в добром здравии, так же как и их. От всего сердца целую ваши ручки.

Е. Баратынский

10

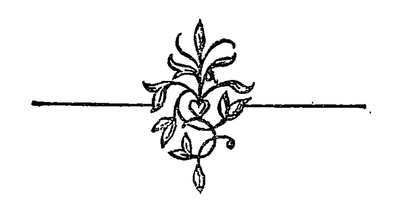
<Апрель 1843. Мураново>

Вот мы и дожили до большого праздника, дорогая маменька. Примите мои поздравления и всяческие пожелания, которые я вам посылаю. Также поздравляю милую тетеньку, моих сестер, братьев и всю розовощекую детвору нового поколения. Близится день вашего анге-

ла, желаю, чтобы он был солнечным, оживляющим деревья и цветы вашего сада и дающим возможность всласть порезвиться вашим внукам. Погода у нас сносная, голубое небо, но все еще холодно. По-прежнему довольно много снегу и морозные ночи. Днем от трех до четырех дети развлекаются верховой ездой. Совершать пешие прогулки еще невозможно. С весной у меня появятся развлечения в виде различных работ. Мне предстоит закончить несколько построек и осуществить немало земляных работ. За этим последуют полевые работы, в которых я тоже принимаю участие — так как, сто́ит мне выйти из дому, как я вижу пахарей за их работой: весь наш маленький участок земли можно окинуть одним взглядом. Я иногда развлекаюсь тем, что делаю неправильные распоряжения старосте, чтобы доставить ему удовольствие обнаружить это и тем самым меня поучать. Знаете ли вы, что это единственный способ добиться от этих людей того, что они знают?

Весь доход, который мы можем здесь получить, настолько мал, что, и ошибаясь, теряешь немного. Что касается продажи леса, то рубка этого года принесла еще более удовлетворительные результаты, чем предыдущая. Я теперь почти уверен в моей удаче. Мне остается только бояться падения цен, что маловероятно. Занятия детей проходят чудесно. Они хорошо усвоили систематические уроки, которые они получают, живя в деревне. Уроки музыки в настоящее время у нас дает госпожа Фильд [1] — сама она играет не так хорошо, как ее муж, но знает его методу, а маленькие артистические тонкости, переданные ей супругом, часто являются ее главными средствами. Нежно целую ваши ручки, любезная маменька, и прошу вашего благословения для всех нас.

Е. Баратынский



А. А. Дельвигу

11

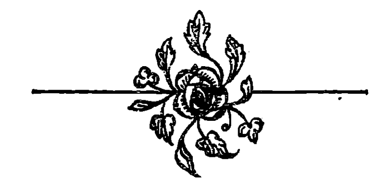
<Октябрь — начало ноября 1828. Москва>

Нет, душа моя Дельвиг: исключение фамилии и исключение пьес не все равно. Я читал их некоторым, ты, вероятно, тоже, следственно, автор будет известен, и у каждого на языке естественный вопрос: для чего вы скрыли ваше имя? Верно, потому-то и потому-то. Потешь меня, мой ангел, уничтожь вовсе эти две пьесы [1]. Я тебе в замену пришлю на будущей неделе новое стихотворение под названием «Бесенок»: ежели не затейливо творение, то заглавие задорно [2]. «Северные цветы» твои будут великолепны. Приложишь ли мой портрет, как имел намерение? Признаюсь, это было бы приятно моему самолюбию. Что ты помещаешь в «Цветах»? «Последнюю эпоху Золотого века» [3] или что другое? Надеюсь, что первое. Я получил письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моем «Бале» [4]. Ему, как тебе, не нравится речь мамушки. Не защищаю ее; но желал бы знать, почему именно она не хороша, ибо, чтобы поправить ее, надобно знать, чем грешит она. Ты мне хорошо растолковал комический эффект моей поэмы и утешил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б в «Бале» видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойство каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее намерение автора, тому и книгу в руки. Кстати об руках; от всей души целую ручки у милой Софьи Михайловны [5] и усердно благодарю ее за попечения о моей Настиньке [6] <нрзб>. Я люблю ее как сестру родную, да что об этом

и говорить и для чего сравнение. Роднее вас у меня никого нет. Сергею[7] ничего не стоила укладка, итак об этом не беспокойся. Ширяев[8] «Двойника»[9] доставил и получил от него расписку. Прощай, мой милый Дельвиг: усердно поклонись от меня Гнедичу. Все собираюсь к нему писать, да как-то не удается. Обнимаю тебя

Е. Баратынский

P. S. Сделай милость, не упрямься и выбрось известные пьесы. Тебе это ничего не стоит, а для меня очень важно.



А. С. Пушкину

12

<Первая половина декабря 1825 г. Москва>

Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твое к моим рифмованным безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих стихотворных произведениях.

Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом [1], чтоб не чувствовать красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспировых, почти всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина, но отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу более: я почти уверен, что французы не могут иметь истинной романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться,— но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю французских классиков, они знали свой язык, занимались теми родами поэзии, которые ему свойственны, и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани.

Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен; я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту сте-

пень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление.

Вяземского нет в Москве; но я на днях еду к нему в Остафьево и исполню твое препоручение. Духов Кюхельбекера читал [2]. Не дурно, да и не хорошо. Веселость его не весела, а поэзия бедна и косноязычна. Эду [3] для тебя не переписываю, потому что она на днях выйдет из печати. Дельвиг, который в П<етербур>ге смотрит за изданием, тотчас доставит тебе экземпляр и, пожалуй, два, ежели ты не поленишься сделать для меня, что сделал для Рылеева. Посетить тебя живейшее мое желание; но бог весть, когда мне это удастся. Случая же, верно, не пропущу. Покаместь будем меняться письмами. Пиши, милый Пушкин, а я в долгу не останусь, хотя пишу к тебе с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут к старшим.

Прощай, обнимаю тебя. За что ты Левушку называешь Львом Сергеевичем? Он тебя искренно любит, и, ежели по ветрености как-нибудь провинился перед тобою — твое дело быть снисходительным. Я знаю, что ты давно на него сердишься; но долго сердиться не хорошо. Я вмешиваюсь в чужое дело, но ты простишь это моей привязанности к тебе и твоему брату.

Преданный тебе *Баратынский*

Адрес мой: в Москве, у Харитона в Огородниках, дом Мясоедовой.

13

<5—20 января 1826 г. Москва>

Посылаю тебе «Уранию» [1], милый Пушкин; не велико сокровище; но блажен, кто и малым доволен. Нам очень нужна философия. Однакож позволь тебе указать на пьесу под заглавием: «Я есмь». Сочинитель мальчик лет осмнадцати и, кажется, подает надежду [2]. Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком темная для стихов. Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии [3]. Не знаю, хорошо ли это, или худо; я не читал Канта и, признаюсь, не слишком

понимаю новейших эстетиков. Галич выдал пиэтику на немецкий лад [4]. В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми прибавлениями приведены в систему. Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная ее поэзия, но начала ее, мне кажется, можно опровергнуть философически. Впрочем, какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову. Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно

Вытье жеманное поэтов наших лет.—

Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Парнасса, и Камоэнс [5] вытаращил глаза. Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг.

Я часто вижу Вяземского. На днях мы вместе читали твои мелкие стихотворения, думали пробежать несколько пьес и прочли всю книгу [6]. Что ты думаешь делать с Годуновым? Напечатаешь ли его, или попробуешь его прежде на театре? Смерть хочется его узнать. Прощай, милый Пушкин, не забывай меня.

Е. Баратынский

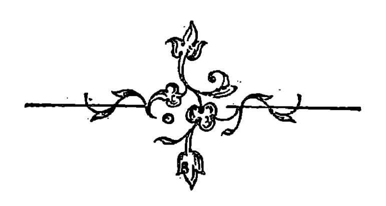
14

<Конец февраля — начало марта 1828 г. Москва>

Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес и ежели бы не поздно пришла мне самая простая мысль написать: Пушкину в Петербург. Я бы это, наверно, сделал, ежели б отъезжающий Вяземский не доставил мне случай писать к тебе — при сей верной оказии. В моем Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился. У нас разнесся слух, что тебя увезли, а как ты человек довольно увозимый, то я этому поверил. Спустя некоторое время я с радостью услышал, что ты увозил, а не тебя увозили. Я теперь в Москве сиротствующий. Мне, по крайней мере, очень чувствительно твое отсутствие. Дельвиг погостил у меня короткое время. Он много говорил мне о тебе: между прочим, передал мне

одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил.— Ты сказал ему: «Мы нынче не переписываемся с Баратынским, а то бы я уведомил его»,—и проч.—Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве [1], мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? — Я, по крайней мере, люблю в тебе по-старому и человека, и поэта.

Вышли у нас еще две песни «Онегина». Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают. Я очень люблю обширный план твоего «Онегина»; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания [2] кажется им бедностию вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами, mais que le diable les emporte et que Dieu les bénisse! * Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большею обдуманностью, с большим глубокомыслием; он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие. Портрет твой в «Северных Цветах» чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете, в благопристойном окладе. Василий Львович [3] пишет романтическую поэму. Спроси о ней у Вяземского. Это совершенно балладическое произведение. Василий Львович представляется мне Парнасским Громобоем [4], отдавшим душу свою романтическому бесу. Нельзя ли пародировать балладу Жуковского? Между тем прощай, милый Пушкин! Пожалуйста, не поминай меня лихом.



* Но пусть их чорт возьмет и благословит бог! *(фр.)*

П. А. Вяземскому

15

<Май 1829 г. Москва>

Василий Львович доставил мне ваш подарок — экз<емпляр> «Станции»[1]. Приношу усерднейшую мою благодарность за этот знак вашего воспоминания. Вы обещали заняться полным собранием ваших сочинений; не отлагайте: оно принесет вам выгоду во всех возможных смыслах, а нам будет что почитать и о чем поговорить. Пушкин уехал в Грузию[2]. Когда я получил письмо ваше, в котором вы у него просите «Полтаву», его уже не было в Москве. «Полтава» вообще менее нравится, чем другие поэмы Пушкина: ее критикуют вкривь и вкось. Странно! Я говорю это не потому, чтобы чрезмерно уважал суждения публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось погрешительным; но «Полтава», независимо от настоящего ее достоинства, кажется, имеет то, что доставляет успех: почтенный титул, занимательность содержания, новость и народность предмета. Я, право, уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, Выжигиных![3] Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз<емпляров> этой глупости? Публика либо вовсе одуреет, либо решительно очнется и спросит с благородным негодованием: за кого меня принимают? У меня до вас просьба. Ежели вы имеете еще несколько лишних экз<емпляров> вашего портрета, подарите мне один. Д. Давыдов хитростию у меня выманил тот, который вы мне прежде дали, хотел его срисовать, но вместо того удержал подлинник и прямо говорит: не отдам. Вы имеете право сказать: on se m'arrache *. Прощайте, любез-

* Меня разрывают на части *(фр.)*.

ный князь, надеюсь, что ваши домашние здоровы и что вы теперь спокойнее сердцем. Княгине[4] свидетельствую усердное мое почтение.

Е. Баратынский

16

<Лето 1829>

Я еще не отвечал на последнее ваше письмо, любезный князь, однакож исполнил ваше поручение. Письмо ваше Плетневу ему доставлено. Прочитав его, с вашего позволения, я с истинным удовольствием увидел, что вы приступаете к изданию ваших сочинений. Литературная ваша слава уже установлена, и потому я не скажу вам, что книга ваша будет иметь блистательный успех в этом отношении: это само собою разумеется; но я поручусь вам за успех книгопродавческий, что также не маловажно и по собственным вашим словам: приличнее взять оброк с публики, нежели с крестьян. Не заключите из моего долгого молчания, что вы сколько-нибудь вышли из моей памяти. Причина его была потеря моей младшей дочери[1], которая на некоторое время привела меня в совершенное уныние. Потеря ребенка не есть великая потеря, но она живо напоминает возможность утрат важнейших; и эта смерть, которая так неожиданно, так невозвратно похищает у нас то, что мы любим, долго не выходит из памяти. Смерть подобна деспотической власти. Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают ее существование, и наполняют сердце продолжительным ужасом. Я недавно видел Корсакова, который собирается к вам в Пензу. Где вы проводите нынешнюю зиму? Ежели в деревне, то я буду в вашем соседстве[2]. Постараюсь с вами увидеться. О Пушкине нет ни слуху, ни духу. Я ничего бы о нем не знал, ежели б не прочел в тифлисских газетах о приезде его в Тифлис.

Прощайте, любезный князь, обнимаю вас с душевною горячностью и поручаю себя вашему воспоминанию.

Е. Баратынский

17

<20 декабря 1829. Мара>

По приезде моем в деревню ежедневно собирался я вам напомнить о себе, любезный князь, но как-то все не удавалось, и я оставался при благом намерении. Могу вас, однако, уверить, что письмо ваше не предупредило бы мое, ежели бы пришло одною почтою позже. Благодарю вас за присылку вашей рукописи: я не принесу ей великую пользу, но для меня чрезвычайно любопытен перевод светского, метафизического, тонко чувственного «Адольфа» на наш необработанный язык, и перевод вашей руки[1]. Я еще не успел разглядеть его. Набег целой орды соседей отнял у меня на дело время. Но я уверен в вашем успехе, и этот успех должен быть эпохальным для нашей словесности. Сердечно радуюсь вашему предисловию к Ф.-Визину[2]. Вы одни на поприще нашей литературы поступали, как настоящий писатель, вы передаете ваше мнение обо всем и, наконец, нам будет известно, что вы о чем думали, между тем, как все другие русские писатели, даже с дарованием, вовсе без образа мыслей. Дельвиг мне пишет, что вы вместе с ним издаете «Литературную Газету»: правда ли это? И как хорошо, ежели это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным. С Кривцовым, за моим нездоровьем, виделся я только один раз. Он человек любопытный своею оригинальностью и в наших краях он служит предметом множества пересудов; я пользуюсь деревенским уединением, но не совсем так, как вы советуете. Проза мне не дается, и суетное мое сердце все влечет меня к рифмам. Я пишу поэму. В альманахе Максимовича вы найдете один из нее отрывок[3]. Боюсь, не черезчур ли он романтический. Свидетельствую усердное мое почтение княгине и вас прошу о продолжении вашей дружбы, мне драгоценной во всех отношениях. Я истинно к вам привязан, мне кажется, что вы угадываете это, и ничто меня столько не радует.

Преданный вам

Е. Баратынский

18

<Вторая половина ноября 1830 г. Москва>

Спорить с вами не могу, любезный князь, как ни желал бы поспорить. Оставаться в Остафьеве покуда благоразумнее, чем ехать в Москву [1]. Приглашение мое было немного ветрено, но его внушило сильное желание вас видеть. Благодарю вас за дружественное и лестное письмо ваше, но поверьте, что вы меня еще более тронули своим участием, нежели одобрительным вашим отзывом о моем новом труде,[2] хотя я высоко ценю ваше одобрение. Степную прогулку вашу[3] я уже отправил Дельвигу и, судя по известной его нерасторопности, думаю, что стихотворение ваше придет вовремя. Оно исполнено красок и чувства. Такая поэзия лучше хлору очищает воздух. Вы мне освежили им душу, и я вам очень признателен за то, что вы через меня его переслали в «Северные Цветы». Не знаю, что отвечать вам на предложение ваше издавать Русских классиков или стариков. Я мало писал в прозе, и сколько раз за нее ни принимался, всегда неудачно. Терпение мое истощалось на втором листе. По совести, я никак за себя отвечать не могу. Примусь за дело и попробую свои силы. Позвольте мне взяться за Ломоносова. Имея мало затейливости в уме, я думаю, что мне лучше удастся статья важная, нежели игривая. Что касается до Тредьяковского, то я ни себя, ни публику не хочу лишить того, что вы о нем скажете. Читая ваше письмо, мне кажется я вижу, с какою улыбкою вы написали его имя. <...> Прощайте, любезный князь. Как жаль, что вы не <в> соседстве, а делать нечего. Жена моя благодарит княгиню и вас за вашу память, ей очень лестную.

Преданный вам *Е. Баратынский.*

19

<1830>

С нетерпением жду, любезный князь, вашего мнения о замечаниях Пушкина на стихи ваши «К ним».[1] Мне кажется, что мы разно думаем о лирической иронии. По мне лирическая поэзия исключает все похожее на остро-

умие, потому что лукавство его совершенно противусвойственно ее увлеченности. Сердитесь, но не шутите. Пусть будет ирония горькая, но не затейливая. Вот почему мне не нравится: *дар на зубок был нужен.* Стих этот слишком весел. Я еще не говорил вам о ваших стансах. Критиковать их можно в целом и в частях. В целом можно желать большой сжатости, в частях привязаться к тому или другому выражению; но это различие чувств прекрасно своим обилием: как же требовать от него красоты меры? Ежели кто-нибудь найдет ваше стихотворение растянутым, или вам самим это придет на ум в холодную минуту, то, право, не верьте ни другим, ни себе, оставьте целое его неприкосновенным, а исправляйте только ту или другую строфу в особенности. Я думаю, что в произведениях поэзии, как в творениях природы, близ красоты должен быть непременно недостаток, ее оживляющий. Не знаю, ясно ли я выражаюсь. Мысль моя в том, что некоторые недостатки во всяком авторе необходимы для существования его в известном роде; что ежели их уничтожишь, уничтожишь и жизненную меру его произведений и неумолимый вкус будет для творений искусства тем же, что смерть для творений природы. Положим, что можно себя переделать; но в таком случае будешь другим существом, с другими достоинствами, с другими несовершенствами. Чувствую, как трудно переводить светского «Адольфа» на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить, и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительных выражений; и стараться только, чтобы коренной их смысл совершенно соответствовал мысли, которую хочешь выразить. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык. Вспомним, что те из них, которые говорят по-русски, говорят языком Жуковского, Пушкина и вашим, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику. Я не согласен, однако, на слово *выторгуем.* Оно принадлежит известному ремеслу, а потому неприлично светской даме. Не лучше ли *выгадаем,* как более общее? Я порадовался вашей эпиграмме на Булгарина. Сегодня же отсылаю ее Дельвигу.

Прощайте, любезный князь! Любите любящего вас

Е. Баратынского

20

<Декабрь 1832 г. Москва>

Письмо это отдаст вам мой брат [1], которого прошу вас, любезный князь, принять в свое благоволение. Литературные связи иногда стоют кровных, и я препоручаю его вам, доверяясь вполне этой мысли.

Долго не отвечал я на ваше милое, дружеское письмо, но глубоко вам за него признателен.

Вы недостаете Москве [2]. Нет общества, в котором бы вас не вспоминали и не сетовали на ваше отсутствие. Я познакомился с старым вашим знакомым М. Орловым [3] и с отменно любезной женой его. В кругу, который некогда был вашим привычным, еще чувствительнее ваше удаление. Д. Давыдов прислал мне начало вашего Послания к нему, в котором вы поэтически подделались к его слогу. Он думает недели на две прискакать в Москву. Не решитесь ли и вы последовать его примеру и пригласить с собою Пушкина? Тогда слово будет делом, тогда

Будут дружеской артели
Все ребята налицо [4].

Я не пишу ничего нового и вожусь с старым. Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений [5]. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело.

Засвидетельствуйте мое почтение княгине и верьте моей всегдашней вам преданности.

Е. Баратынский

21

<5 февраля 1837 г. Москва>

Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне и не во мне одном ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть еще не достигшего своего

полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней, отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждой? Я навестил отца[1] в ту самую минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие весьма неубедительные увещания сказал: «Мне остается одно: молить бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл». Это было произнесено с раздирающею ласковостию.

Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием, но участвующее пораженное большинство скоро принудит их к пристойному лицемерию.

Если до сих пор не отвечал на письмо ваше, тому виною обстоятельства, может быть, вам уже известные. Я лишился моего тестя[2], и смерть его передала мне много забот положительных. Сверх того, хотелось к письму моему приложить что-нибудь для вашего литературного сборника, ждал минуты досуга и вдохновения, но по сию пору напрасно.

Е. Баратынский

Февраля 5-го 1837.

22

<Февраль (?) 1837 г. Москва>

Препровождаю вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения[1]. Всякий работает по-сво-

ему. Лирическую пьесу я с первого приема всегда набрасываю более чем с небрежностию; стихами иногда без меры, иногда без рифм, думая об одном ее ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе. Препоручаю себя вашей дружеской памяти.

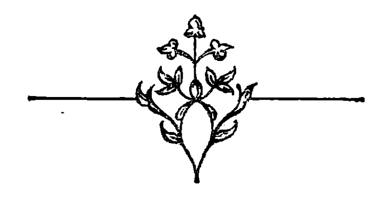
Е. Баратынский

23

<Осень 1843. Петербург>

Очень мне совестно, что я не догадался вам оставить адреса новой квартиры Путята, чем и лишил себя удовольствия видеть вас сегодня. Завтра я целое утро в хлопотах и потому прибегаю к вам вместе с моими хозяевами с покорнейшею просьбою: не откажите у нас обедать. Вы увидите, между прочим, Одоевских. Сбираются в 5 часов. Во всяком случае я не оставлю Петербурга, с вами еще раз не повидавшись и не получив вашего благословения на мое европейское пилигримство.

Е. Баратынский





24

<Апрель 1831. Москва>

Посылаю тебе, милый Плетнев, экз. «Наложницы», чтоб им напомнить об одном из старых друзей твоих. Не знаю, доставил ли тебе покойный Дельвиг письмо мое, в котором было много такого, на что, зная твое сердце, я мог бы ожидать ответа. Я не получил его, и, признаться, это было для меня очень больно. Как ты ни переменился в продолжение пятилетней разлуки, я могу тебя уверить, что я остался тем же, чем был до нее. Я имею несчастье быть мало известным моим знакомым или, лучше сказать, не возбуждаю в них довольно участия, чтоб они потрудились узнать меня. Что делать? Им же хуже! Они отвергают сердце, способное к преданности. Прощай. Обнимаю тебя.

Е. Баратынский

25

<Июль 1831 г. Каймары>

Когда я получил письмо твое, милый Плетнев, я укладывался в долгую дорогу, оттого и не отвечал тебе в то же время. Теперь пишу к тебе не из Москвы, а из деревни в 20 верстах от Казани. Я стал от тебя дальше расстоянием, но не дальше сердцем. Письмо твое взволновало мне душу. Оно дышит разуверенностью и унынием. С горьким угрызением думаю, что сам я несколько способствовал привести тебя к этому печальному

расположению духа. Довольный в душе моей живым дружеским воспоминанием о тебе, я не заботился в нем уверять тебя и, казалось, забыл о старом друге. Мне страшно подумать, что, вспомнив обо мне, ты сам себе говорил: вот как нечувствительны, как неблагодарны люди! Между тем я был виноват в одной лености, отлагающей до другого дня сегодняшнее дело. Потеря Дельвига для нас незаменяема. Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол,— боже мой! как мы будем еще одиноки! Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. Я еще не принимался за жизнь Дельвига [1]. Смерть его еще слишком свежа в моем сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я еще не в силах привести их в порядок. Поговорим о тебе. Неужели ты вовсе оставил литературу? Знаю, что поэзия не заключается в мертвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнев; не изменяй своему назначению. Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость. Прощай, мой милый. Я стал проповедником. Слушай мои увещания, а я буду слушать — твои. Благодарю тебя за похвалы «Наложнице»: они меня утешили в неблагорасположении других моих критиков. Обнимаю тебя от всей души. Пиши ко мне, когда найдешь досужное время. Поклонись Пушкину. Адрес мой — такому-то, в Казань.

Е. Баратынский

26

<Начало 1839 г. Москва>

Милый мой, всегда по-старому милый Плетнев! Родственница моя Путята [1] пишет мне, что ты на меня сердишься. Спасибо тебе за это. Кто сердится, тот пом-

нит, а может быть, любит. Пьеса, напечатанная в «Отечественных Записках» [2], была у меня вырвана из-под пера братом моим Сергеем, с которым ты, может быть, и познакомился, потому что он теперь в Петербурге,— оттого-то она и несколько слаба слогом. Давно, давно нет между нами никаких сношений; зато давно, давно я не пишу стихов, и мной оставлен тот мир, в котором некогда мы сошлись и сблизились. Можешь ли ты думать, что прошедшее мною забыто? Что бы после этого помнить! Но судьба, в молодости удалившая меня от людей, от их обычаев, от условий светской жизни, наградившая меня друзьями такими, как ты, неопытного, давно обманутого, бросила потом и в свет, и в мелочи обыкновенной жизни. Мужем мне нужно было учиться тому, чему учатся дети, понимать отношения, приобретать привычки, угадывать то, что другие твердо знают. Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжеле всех годов моего финляндского заточения. Я утомился, впал в хандру. Не тебя я поставил в уровень с людьми, которых узнал после; но при новых впечатлениях, которых постепенность и связь тебе неизвестна, при этой долгой и сложной повести, которая меня так глубоко изменила, с чего начать? Как передать себя дружбе давних лет, а не хочется посылать холодные и неполные строки. Не по этой ли причине старики молчаливы? Вся эта болтовня значит в крайнем выводе: ты, дружба твоя, память прошедшего мне драгоценны, а если в какую-либо минуту тебе показалось иначе, тебя обманывала наружность.

Посылаю тебе несколько небольших пьес [3], набросанных мною на прошедшей неделе.

Я теперь в суетах, происходящих от приготовлений к большому путешествию. Я еду с семейством на южный берег Крыма, где проведу около полутора года. Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной. Думаю опять приняться за перо, и, если все, что скопилось у меня в уме и легло на сердце, найдет себе исход и выражение, надеюсь быть добрым слугою «Современника».

Прощай. Нежно тебя обнимаю. Сохрани мне старую твою дружбу.

Е. Баратынский

27

<26 мая 1842. Москва>

Посылаю тебе, любезный друг Петр Александрович, экземпляр моих «Сумерек» и при нем более десятка других для доставления разным лицам. Знаю, что даю тебе очень скучное поручение, но ради нашей давней связи позволю себе не слишком совеститься. Тут есть экземпляры, адресованные старым товарищам, которые, может быть, с тобою не в сношении. Отдай их Льву Пушкину: это знакомцы нам общие. Не откажись написать мне в нескольких строках твое мнение о моей книжонке, хотя почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта. Обнимаю тебя с чувством теперь уже более 20-летней дружбы.

Е. Баратынский

Адрес мой: в Москве на Спиридоньевской улице в соб. доме.

Сообщи мне и свой: ты, говорят, купил дом на В<асильевском> О<строве>.

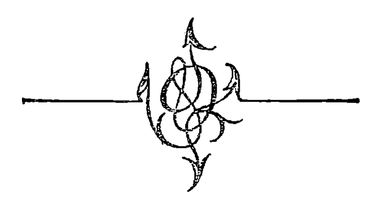
28

<10 августа 1842. Москва>

Поздно отвечаю тебе, старый и добрый друг, но не упрекай меня в неблагодарности. Письмо твое застало меня средь материальных забот, тем более поглощавших все мое время и мысли, что по привычке моей к жизни отвлеченной и мечтательной, я менее способен к трудам, требуемым действительностью. Чтоб в самом деле вести тихую жизнь мудреца, нужно глубокое и покорное внутреннее согласие на некоторые суеты житейские. Этого у меня нет, но надеюсь, что будет. Как мы мало с тобой виделись в Петербурге! Как бы мне хотелось уже не повстречаться с тобой на минуту, а пожить вместе, поделиться, как прежде, поэтическими мечтами, разнообразными открытиями зрелой жизни! Между

нами 16 лет расстояния, пройденного порознь; но краткое наше свидание доказало, что мы прошли его односмысленно. Физиогномия наших душ не изменилась, а если мысли приняли строгую краску строгих лет, сердце сохранило почти всю свою молодую веселость, сокровище сбереженное верностью к первым привязанностям и постоянною чистотою стремлений. Обстоятельства удерживают меня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удовольствия, не без любви к этим мирным занятиям и к прекрасной окружающей меня природе; но лучшая, хотя отдаленная, моя надежда: Петербург, где я найду тебя и наши общие воспоминания. Теперешняя моя деятельность имеет целью приобрести способы для постоянного пребывания в Петербурге, и я почти не сомневаюсь ее достигнуть. С нынешней осени у меня будет много досуга, и если Бог даст, я снова примусь за рифмы. У меня много готовых мыслей и форм, и хотя полное равнодушие к моим трудам г. г. журналистов и не поощряет к литературной деятельности, но я, Божиею милостию, еще более равнодушен к ним, чем они ко мне. Прощай, нежно тебя обнимаю. Дружеский поклон мой Гроту [1].

P. S. Рассылка в разные места моих «Сумерек» была соединена с некоторыми издержками. Позволь, сделай одолжение, с тобой рассчитаться. Распечатай пакет ко Льву Пушкину: там есть экз. для Натальи Николаевны [2]. Я полагал его непременно в П-бурге и хотел уменьшить твои хлопоты, препоручив ему экз. для его родства и круга знакомых.



И. В. Киреевскому

29

<Весна 1829. Мара>

Не знаю, застанет ли тебя письмо мое в России[1], и все-таки пишу, чтоб уведомить тебя о благополучном моем приезде в мою татарскую родину, а главное, чтоб доказать тебе, что для тебя я не вовсе безграмотен или не так ленив на письма, как ты думаешь. Отъезд твой из Москвы утешит меня в собственном моем отъезде; но грустно мне думать, что при возвращении моем я не найду тебя у Красных Ворот, в доме бывшем Мертваго, Надеюсь, однако, что мы с тобой довольно пожили, поспорили, помечтали, чтоб не забыть друг друга. Мы с тобой товарищи умственной службы, умственных походов, и связь наша должна быть по крайней мере столько же надежною, сколько б она могла быть между товарищами по службе Е. И. В. и по походам графа Паскевича Эриванского[2]. Пиши мне из просвещенного Парижа, а я буду отвечать тебе из варварского Кирсанова. Ежели письма мои тебе покажутся не довольно подробными, не сердись: я в самом деле писать неохотник, и это служит только прекрасным доказательством, что нам не должно разлучаться. О моем теперешнем житье-бытье сказать тебе мне почти нечего. Я не успел еще осмотреться на новом месте. Надеюсь, что в деревенском уединении проснется моя поэтическая деятельность. Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем тверже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии.

Прощай, милый Киреевский, люби меня и помни, а я тебя верно не разлюблю и не забуду. Маменьке твоей[3]

свидетельствую мое усердное почтение. Она любезна со всеми, но ежели мое чувство меня не обманывает, со мной обходилась она дружески, и я вспоминаю это с самою нежною признательностью. Обнимаю тебя.—

Е. Баратынский

Жена моя кланяется маменьке твоей и тебе.

30

<Весна 1829. Мара>

Милое, теплое и умное письмо твое меня и заняло, и обрадовало, и тронуло. Не думай, чтобы я хотел писать тебе мадригалы; нет, мой милый Киреевский, но я рад, что я нахожу тебя таким, каков ты есть, рад, что мое чутье меня в тебе не обмануло, рад еще одному — что ты, с твоей чувствительностью пылкою и разнообразною, полюбил меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты в моем сердце, чтоб никогда не охладить твоего, чтобы делить все твои мечты и отвечать душевным словом на душевное слово. Береги в себе этот огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источник всего прекрасного, всякой поэзии и самого глубокомыслия. Люди, которых охлаждает суетный опыт, показывают не проницательность, а сердечное бессилие. Вынесть сердце свое свежим из опытов жизни, не позволить ему смутиться ими, вот на что мы должны обратить все наши нравственные способности. Прекрасное положительнее полезного, оно принадлежит нам в большей собственности, оно проникает все существо наше, между тем как остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки с истинным восторгом, знаю, что твое сердце не имеет нужды в подобных поощрениях; но мне, в мои теперешние лета, испытав, по некоторым обстоятельствам более другого, размышляя не менее других, мне сладко с глубоким убеждением принести это свидетельство в пользу первых чистых вдохновений сердца, простительных, годных, по мнению эгоизма, только в одну пору, а по мне — священных, драгоценных во всякое время.— Я заболтался, душа моя, но от доброго сердца.

Желание мое состоит в том, чтобы ты воротился из дальних странствий, каким поехал, и обнял бы меня с старинною горячностью. Скажи Максимовичу [1], что я пришлю ему первую пьесу, которая у меня напишется. Ежели же Музы ко мне не будут милостивы, то пусть на меня не пеняет и любит меня по-прежнему. Прощай, мой милый, поклонись от меня и от жены моей милой твоей маменьке. Когда будешь писать к Соболевскому [2], скажи ему от меня несколько добрых дружеских слов. Напиши, когда именно ты выезжаешь из Москвы.

Жена моя тебя очень благодарит за твое дружеское воспоминание и любит тебя столько же, сколько я.

31

<29 ноября 1829 г. Мара>

Доставь, душа моя, эти стихи [1] Максимовичу и поблагодари от меня за милое его письмо. Не отвечаю ему за недосугом и спеша отправить на почту мой посильный оброк его альманаху. В последнем моем письме я непростительно забыл благодарить твою маменьку за намерение прислать мне Вальтер-Скоттовскую новинку. Я, кажется, ее уже имею: это — Charles le Téméraire *, не правда ли? По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультра-романтическая. Пишу ее, очертя голову. Прощай, мой милый, обнимаю тебя преусердно, разумеется, что также свидетельствую мое почтение всему твоему дому, мне очень, очень любезному.

Е. Баратынский

32

<Июнь (?) 1831. Казань>

Пишу тебе из Казани, милый Киреевский. Дорогой писать не мог, потому что мы объезжали города, в которых снова показалась холера. Как путешественник, я имею право говорить о моих впечатлениях. Назову глав-

* Карл Смелый (*фр.*).

ное: скука. Россию можно проехать из конца в конец, не увидав ничего отличного от того места, из которого выехал. Все плоско. Одна Волга меня порадовала и заставила меня вспомнить Языкова, о котором впрочем я и без того помнил. Приехав в Казань, я стал читать московские газеты и увидел в них объявление брошюрки «О Борисе Годунове». Не твое ли это? Вероятно, нет; во-первых, потому, что ты слишком ленив, чтобы так проворно написать и напечатать; во-вторых, потому, что ты обещал мне прислать статью твою до печати. Надеюсь в деревенском уединении путем приняться за перо. Ежели я ничего не заметил дорогою, то многое обдумал. Путешествие по нашей родине тем хорошо, что не мешает размышлению. Это путешествие по беспредельному пространству, измеряемое одним временем: зато и приносит плод свой, как время. Кстати, не мешало бы у нас означать расстояние часами, а не верстами, как то и делается в некоторых землях не по столь неоспоримому праву. Прощай, мой милый. Я пишу к тебе ералаш оттого, что устал, оттого, что жарко. Из деревни буду писать тебе порядочнее. Поклонись от меня всем своим. Жена моя не пишет за хлопотами. Она закупает разные вещи, нужные нам в деревне, и теперь ее нет дома. Обнимаю тебя от всей души.—

Е. Баратынский

33

<Июнь (?) 1831 г. Казань>

Не стану благодарить тебя за твои хлопоты: пора оставить эти сухие формулы между нами; они отзываются недоверчивостью, а у меня нет ее к тебе. Надеюсь, что в этом мы сочувствуем. Денег мне не присылай, а оставь у себя до нашего свидания. Я буду в Москве в июле, а в сентябре непременно. Мне надо тебе растолковать мысли мои о романе: я тебе изложил их слишком категорически. Как идеал конечного возьми «L'âne mort» и «La confession» [1], как идеал спиритуальности — все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг [2], Вальтер Скотт [3]

ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования, и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с нее сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдет, я думаю, далее, то есть, будет еще отчетливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель, даже без собственного сознания,— философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений, как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках.— Что с твоею маменькою? Надеюсь, что нездоровье ее не важно. Поцелуй ей за меня ручки и скажи, чтоб она не полагалась на одну силу воли для выздоровления и похлопотала бы хоть раз о себе, как ежедневно хлопочет о других. Жена моя тебе усердно кланяется и благодарит Языкова за его память. Свояченица моя препоручила мне тоже тебе поклониться. Дело в том, что все мы очень тебя любим. Посылаю тебе расписку Салаева [4]. Ежели Логинов и другие покупают «Наложницу», то его экземпляры вероятно разошлись, и можно с него потребовать деньги. Возьми их и оставь у себя. Что ты, Языков [5], не выздоравливаешь? Это, право, грустно. Прощайте, братцы, до будущего свидания. Обнимаю тебя.

34

<Июль 1831 г. Каймары>

Как ты поживаешь, милый мой Киреевский, и что ты поделываешь? Благодатно ли для тебя уединение? Идет ли вперед твой роман? [1] Кстати об романе: я много думал о нем это время, и вот что я о нем думаю. Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-нибудь системы. Одни — спиритуалисты, другие — материали-

сты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя все сказано, но все сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франмасонском языке мои размышления. Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень покуда столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих.— Прощай, мой милый, обнимаю тебя, а ты обними за меня Языкова. Не забывайте об альманахе.

Твой Е. Баратынский

Я прочел в «Литературной Газете» разбор «Наложницы» весьма лестный и весьма неподробный. Это — дружеский отзыв. Что-то говорят недруги? Ежели у тебя что-нибудь есть, пришли, сделай милость. Я намерен отвечать на критики. Жена тебе кланяется.

35

<Июль 1831 г. Каймары>

Отвечаю тебе весьма наскоро и потому прошу принять эту грамоту за записку, а не за письмо. Благодарю тебя за добрые вести о здоровье твоей маменьки. Надеюсь, что оно скоро утвердится. О торговых делах [1] мой ответ мог бы быть очень короток: я бы сказал: делай, что хочешь, и был бы покоен; но я знаю, что ты — человек чересчур совестливый, и если б что-нибудь не удалось, тебе было бы более досадно, нежели мне. Вот почему скажу тебе, что насчет Ширяева я с тобой согласен. Что же до Кольчугина [2], то думаю уступить менее 8 р. экземпляр, ежели возьмут 100 разом, по 7 р. 50 к. или даже по 7.

Об романе мне кажется, что мы оба правы: всякий взгляд хорош, лишь бы он был ясен и силен. Я писал тебе более о романе вообще, нежели о твоем романе; ду-

маю, между тем, что мои мысли внушат тебе что-нибудь, может быть подробности какой-нибудь сцены. Я очень хорошо знаю, что нельзя пересоздать однажды созданное. Напиши мне, как ты найдешь Гнедича. Признаюсь, мне очень жаль, что я его не увижу. Я любил его, и это чувство еще не остыло. Может быть, теперь я нашел бы в нем кое-что смешное: что за дело! Приятно взглянуть на колокольню села, в котором родился, хотя она уже не покажется такою высокою, как казалась в детстве. Я покуда ничего не делаю: езжу верхом и, как ты, читаю Руссо. Я об нем напишу тебе на днях: он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Все, что он о себе говорит, без сомнения, *было*, может быть только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его «Confessions» * — огромный подарок человечеству. Обнимаю тебя.

Е. Баратынский

P. S. Деньги я получил.

36

<6 августа 1831 г. Каймары>

Что ты молчишь, милый Киреевский? Твое молчание меня беспокоит. Я слишком тебя знаю, чтобы приписать его охлаждению; не имею права приписать его и лени. Здоров ли ты и здоровы ли все твои? Право, не знаю, что думать. Я в самом гипохондрическом расположении духа, и у меня в уме упрямо вертится один вопрос: отчего ты не пишешь? Письмо от тебя мне необходимо. Не знаю, о чем тебе говорить. Вот уже месяц, как я в своей казанской деревне. Сначала похлопотал по хозяйству, говорил с прикащиками и старостами. У меня тяжебное дело, толковал с судьями и секретарями. Можешь себе вообразить, как это весело. Теперь я празден, но не умею еще пользоваться досугом. Мысль приходит за мыслью, ни на одной не могу остановиться. Воображение напряжено, мечты его живы, но своевольны, и лени-

* «Исповедь» (*фр.*).

вый ум не может их привести в порядок. Вот тебе моя психологическая исповедь.— Дорогой и частию дома я перечитал «Элоизу» Руссо. Каким образом этот роман казался страстным? Он удивительно холоден. Я нашел насилу места два истинно трогательных и два или три выражения прямо от сердца. Письма Saint-Preux лучше, нежели Юлии, в них более естественности; но вообще это трактаты нравственности, а не письма двух любовников. В романе Руссо нет никакой драматической истины, ни малейшего драматического таланта. Ты скажешь, что это и не нужно в романе, который не объявляет на них никакого притязания, в романе чисто аналитическом; но этот роман — в письмах, а в слоге письма должен быть слышен голос пишущего: это в своем роде то же, что разговор,— и посмотри, какое преимущество имеет над Руссо сочинитель «Клариссы»[1]. Видно, что Руссо не имел в предмете ни выражения характеров, ни даже выражения страсти, а выбрал форму романа, чтобы отдать отчет в мнениях своих о религии, чтобы разобрать некоторые тонкие вопросы нравственности. Видно, что он писал Элоизу в старости: он знает чувства, определяет их верно, но самое это самопознание холодно в его героях, ибо оно принадлежит не их летам. Роман дурен, но Руссо хорош как моралист, как диалектик, как метафизик, но... отнюдь не как создатель. Лица его без физиономии, и хотя он говорит в своих «Confessions», что они живо представлялись его воображению, я этому не верю. Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юбке. Прощай, мой милый. Делюсь с тобою, чем могу: мыслями. Пиши, ради бога. Поклонись от меня всем твоим и Языкову. Надеюсь, что я скоро перестану о тебе беспокоиться и только посержусь немного.

37

<Август 1831 г. Каймары>

Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастию; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удо-

вольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы оба видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из нее не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру. Сделал бы тебе описание нашей деревенской жизни, но теперь не в духе. Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры; вставь в нее то, чему нет имени: это общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейного счастия, и ты получишь довольно верное понятие о моем бытье. «Наложницу» оставляю совершенно на твое попечение. Жду с нетерпением твоего разбора[1]. Пришли, когда кончишь. О недостатках «Бориса» можешь ты намекнуть вкратце и распространиться о его достоинствах. Таким образом ты будешь прав перед собою и перед отношениями. Я не совсем согласен с тобою в том, что слог «Иоанны»[2] служил образцом слога «Бориса». Жуковский мог только выучить Пушкина владеть стихом без рифмы, и то нет, ибо Пушкин не следовал приемам Жуковского, соблюдая везде цезуру. Слог «Иоанны» хорош сам по себе, слог «Бориса» тоже. В слоге «Бориса» видно верное чувство старины, чувство, составляющее поэзию трагедии Пушкина, между тем как в «Иоанне» слог прекрасен без всякого отношения.— Прощай, мой милый, крепко обнимаю тебя. Пиши к нам. Жена моя очень благодарна тебе за дружеские твои приветствия. Впрочем, я всегда пишу к тебе в двух лицах. Обними за меня Языкова, рад очень, что он выздоравливает. Очень мне хочется с вами обоими повидаться, и, может быть, я соберусь на день-другой в Москву, ежели здоровье мое позволит. Не забудь поклониться от меня Гнедичу.

Е. Баратынский

38

<21 сентября 1831 г. Каймары>

Отвечаю разом на два твои письма, милый Киреевский, потому что они пришли в одно время. Не дивись этому: московская почта приходит в Казань два раза в неделю, а мы из своей деревни посылаем в город только раз. Благодарю тебя за хлопоты о «Наложнице». Авось разойдется зимою. Впрочем, успех и неуспех ее для меня теперь равнодушен. Я как-то остыл к ее участи. Ты меня истинно обрадовал намерением издавать журнал. Боюсь только, чтобы оно не было одним из тысячи наших планов, которые остались — планами. Ежели дело дойдет до дела, то я — непременный и усердный твой сотрудник, тем более что все меня клонит к прозе. Надеюсь в год доставить тебе две-три повести и помогать тебе живо вести полемику. Критик на «Наложницу» я не читал: я не получаю журналов. Ежели б ты мог мне прислать № *Телескопа,* в котором напечатано возражение на мое предисловие [1], я бы непременно отвечал, и отвечал дельно и обширно. Я еще более обдумал мой предмет со времени выхода в свет «Наложницы», обдумал со всеми вопросами, к нему прикосновенными, и надеюсь разрешить их, ни в чем не противореча первым моим положениям. Статья моя пригодилась бы для твоего журнала. Я сберегу тебе твой № *Телескопа* и перешлю обратно, как скоро статья моя будет готова. Ты напрасно почитаешь меня неумолимым критиком Руссо; напротив, он совершенно увлек меня. В «Элоизе» я критикую только роман, так же, как можно критиковать создание поэм Байрона. Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу весьма справедливым. В творениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражения их индивидуальности. Оба — поэты самости; но Байрон безусловно предается думе о себе самом; Руссо, рожденный с душою более разборчивою, имеет нужду себя обманывать; он морализует и в своей морали выражает требования души своей, мнительной и нежной. В «Элоизе» желание показать возвышенное понятие свое о нравственном совершенстве человека, блистательно разрешить некоторые трудные задачи совести беспрестанно заставляет его забывать драматическую

правдоподобность. Любовь по природе своей — чувство исключительное, не терпящее никакой совместности, оттого-то «Элоиза», в которой Руссо чаще предается вдохновению нравоучительному, нежели страстному, производит такое странное, неудовлетворительное впечатление. Мы видим в «Confessions», что любовь к m-me Houdetot внушила ему «Элоизу»; но по тому несоразмерному участку, который занимает в ней мораль и философия (кровная собственность Руссо), мы чувствуем, что идеал любовницы Saint-Lambert всегда уступал в его воображении идеалу Жан-Жака. В составе души Руссо еще более, нежели в составе его романа, находятся недостатки последнего. «Элоиза» мне нравится менее других произведений Руссо. Роман, я стою в том, творение, совершенно противоречащее его гению. В то время как в «Элоизе» меня сердит каждая страница, когда мне досаждают даже красоты ее, все другие его произведения увлекают меня неодолимо. Теплота его слова проникает мою душу, искренняя любовь к добру меня трогает, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу. Видишь, как я с тобою заболтался. Жена моя, которая тебя очень любит, тебе кланяется. Обнимаю тебя.

Е. Баратынский

39

<8 октября 1831 г. Каймары>

Спасибо тебе за стихи Пушкина и Жуковского [1]. Я хотел было их выписать, но ты меня предупредил. Стихи Жуковского читал я без подписи в *Северной Пчеле* и никак не мог угадать автора. Необыкновенные рифмы и приметная твердость слога меня поразили, но фамильярный тон удалил всякую мысль о Жуковском. Первое стихотворение Пушкина мне более нравится, нежели второе. <...> Я уже отвечал тебе о журнале. Принимайся с богом за дело. Что касается до названия, мне кажется всего лучше выбрать такое, которое бы ровно ничего не значило и не показывало бы никаких притязаний. *Европеец*, вовсе не понятый публикой, будет понят журналистами в обидном смысле; а зачем вооружать их прежде времени? Нельзя ли назвать журнал *Северным Вестни-*

ком, *Орионом* или своенравно, но вместе незначительно, вроде *Nain jaune* *, издаваемого при Людовике XVIII наполеонистами? Ты слишком много на меня надеешься, и я сомневаюсь, исполню ли я половину твоих надежд. Могу тебя уверить в одном: в усердии. Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности. Я написал еще несколько мелких стихотворных пьес, кроме тех, которые тебе послал. Теперь пишу небольшую драму [2], первый мой опыт в этом роде, которая как ни будет плоха, но все годится для журнала. Вероятно, я ее кончу на этой неделе и пришлю тебе. Не говори о ней никому, но прочти и скажи мне свое мнение. В журнале я помещу ее без имени. Не говорю тебе о дальнейших моих замыслах из суеверия. Никогда того не пишешь, чем заранее похвастаешь. Мне очень любопытно знать, что ты скажешь о романах Загоскина [3]. Все его сочинения вместе показывают дарование и глупость. Загоскин — отменно любопытное психологическое явление. Пришли мне статью твою, как напишешь. Настоящим образом я помогать тебе буду, когда ворочусь в Москву. Я должен писать к спеху, чтобы писать много. Мне нужно предаваться журнализму, как разговору, со всею живостью вопросов и ответов, а не то я слишком сам к себе требователен, и эта требовательность часто охлаждает меня и к хорошим моим мыслям. Между тем все, что удастся мне написать в моем уединении, будет принадлежать твоему журналу. Прощай, кланяйся твоим.

Е. Баратынский

Скажи Языкову, что на него сердится Розен [4] за то, что он не только не прислал ему стихов прошлого года, но даже не отвечал на письмо. Он жалуется на это очень и даже трогательно.

40

<26 октября 1831 г. Каймары>

Со мною сто раз случалось в обществе это тупоумие, о котором ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь в хорошем мнении о самом себе: не упрекал себя в

* Желтый карлик.

глупости, особенно сравнивая себя с теми, которые отличались этою наметанностию, которой мне недоставало. Чтобы тебя еще более утешить в твоем горе (горе я ставлю для шутки), скажу тебе, что ни один смертный так не блистал в petits jeux * и особенно в secrétaire **, как Василий Львович Пушкин и даже брат его Сергей Львович. Сей последний, на вопрос: Quelle différence y a-t-il entre m-r Pouchkine et le soleil? *** отвечал: Tous les deux font faire la grimace ****. Впрочем, говорить нечего: хотя мы заглядываем в свет, мы — не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные. Светский разговор для нас ученый труд, драматическое создание, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящих страстей светского общества. Замечу еще одно: этот laisser aller *****, который делает нас ловкими в обществе, есть природное качество людей ограниченных. Им дает его самонадеянность, всегда нераздельная с глупостию. Люди другого рода приобретают его опытом. Долго сравнивая силы свои с силами других, они, наконец, замечают преимущество свое и дают себе свободу не столько по чувству собственного достоинства, сколько по уверенности в ничтожности большей части своих совместников. Не посылаю еще моего драматического опыта потому, что надо его переписать, а моя переписчица [1] еще в постели. Благодарю тебя за деньги и за Villemain [2]. У меня на душе стало легче, когда увидел я этот замаранный том, который меня порядочно помучил. Я прочел уже две части: много хорошего и хорошо сказанного; но Villemain часто выдает за новость и за собственное соображение — давно известное у немцев и ими отысканное. Многое лишь для успеха минуты и рукоплесканий партии. Еще одно замечание: у Villemain часто заметна аффектация аттицизма, аффектация наилучшего тона. Его скромные оговорки, во-первых, однообразны, во-вторых, несколько изысканны. Чувствуешь, что он любуется своим светско-эстетическим смирением. Это не мешает творению его быть очень занимательным. О Ги-

* Салонные игры.

** Игра в вопросы и ответы.

*** В чем различие между г-ном Пушкиным и солнцем? *(фр.)*

**** Оба заставляют делать гримасу *(фр.)*.

***** Непринужденность *(фр.)*.

зо[3] скажу тебе, что у меня теперь нет денег. Ежели ты можешь ссудить меня нужною суммою до января, то возьми его; ежели нет, то скажи Urbain[4], что Гизо мне не нужен, или попроси подождать денег. Прощай; все мои тебе кланяются. Языкову буду писать на будущей почте, а покуда обнимаю.

Е. Баратынский

41

<Ноябрь 1831 г. Каймары>

Благодарю тебя за твое дружеское поздравление и милые шутки. Впрочем, я тебя ловлю на слове: в год рождения моей Машеньки[1] должен непременно издаваться *Европеец*[2]; а там, ежели в 12 лет она будет в состоянии слушать твои лекции, прошу в самом деле позаботиться о ее просвещении. Не беда, что моя пьеса пошла по рукам. Я послал Пушкину и другую: «Не славь, обманутый Орфей», но уверяю, что больше нет ничего за душою. Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам. Я прочел критику Надеждина. Не знаю, буду ли отвечать на нее и что отвечать? Он во всем со мной согласен, только укоряет меня в том, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературе; между тем как я очень ясно сказал, что не говорю о прекрасном, потому что буду понят немногими. Критика эта меня порадовала; она мне показала, что я вполне достигнул своей цели: опроверг убедительно для всех общий предрассудок, и что всякий несколько мыслящий читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом, заключит вместе со мною, что должно искать ее только в истине или прекрасном, которое не что иное, как высочайшая истина. Хорош бы я был, ежели б я говорил языком Надеждина. Из тысячи его подписчиков вряд ли найдется один, который что-нибудь бы понял из этой страницы, в которой он хочет объяснить прекрасное. А

что всего забавнее, это то, что перевод ее находится именно в предисловии, которое он критикует. Ежели буду отвечать, то потому только, что мне совестно перед тобою, заставив тебя понапрасну отыскивать и посылать журнал. Я пишу, но не пишу ничего порядочного. Очень недоволен собою. «Ne pas perdre du temps c'est en gagner» *, говорил Вольтер. Я утешаю себя этим правилом. Теперь пишу я жизнь Дельвига. Это только для тебя. Ты мне напоминаешь о Свербеевых, которых, впрочем, я не забыл. Поклонись им от меня и скажи, что ежели они останутся будущую зиму в Москве, я надеюсь провести у них много приятных часов. Обнимаю тебя.

Е. Б.

42

<29 ноября 1831 г. Каймары>

Вот тебе и число. Я пропустил одну почту оттого, что в моем глубоком уединении

Позабыл все дни недели
Называть по именам.

Я думал, что был понедельник, когда была среда. В это время, однакож, трудился для твоего журнала. Отвечал Надеждину. Статья моя [1], я думаю, вдвое больше моего предисловия [2]. Сам удивляюсь, что мог написать столько прозы. Драма моя почти переписана набело. Теперь сижу за повестью, которую ты помнишь: «Перстень». Все это ты получишь по будущей тяжелой почте. Все это посредственно; но для журнала годится. Благодарю тебя за обещание прислать повести малороссийского автора [3]. Как скоро прочту, так и напишу о них. О Загоскине писать что-то страшно. Я вовсе не из числа его ревностных поклонников. «Милославский» его — дрянь, а «Рославлев», быть может, еще хуже. В «Рославлеве» роман ничтожен; исторический взгляд вместе глуп и неверен. Но как сказать эти крутые истины автору, который все-таки написал лучшие романы, какие у нас есть? Мне очень жаль, что Жуковскому не нравится название моей

* Не терять времени — это значит выиграть время *(фр.)*.

поэмы. В ответе моем Надеждину я стараюсь оправдать его. Не могу понять, почему люди умные и просвещенные так оскорбляются словом, которого полный смысл допущен во всех разговорах. Скажи мне, что он думает о самой поэме, что хвалит и что осуждает. Не бойся меня опечалить. Мнение Жуковского для меня особенно важно, и его критики будут мне полезнее. У меня план новой поэмы [4], со всех сторон обдуманный. Хороша ли будет, бог знает. На днях примусь писать. Не отдаю тебе отчета в моем плане, потому что это охлаждает. Кстати, послание к Языкову и элегия [5], которую ты называешь европейской, принадлежит *Европейцу*. По будущей почте пришлю тебе еще две-три пьесы. Прощай, поклонись от меня милой твоей маменьке, которой не успеваю писать сегодня. Напомни обо мне Алексею Андреевичу [6]. Каково его здоровье, и совершенно ли он успокоился насчет холеры?

Е. Баратынский

Жена моя на богомолье в соседной пу́стыне и будет отвечать твоей маменьке по будущей почте.

43

<Декабрь 1831 г. Каймары>

Вот тебе для *Европейца*. Извини, что все это так дурно переписано: ты знаешь страсть мою к переправкам. Я не мог от них удержаться и при том, что тебе посылаю. Особенно мне совестно за мою драму, которая их не стоит. И я ни за что бы тебе ее не послал, ежели б не думал, что в журнале и посредственное годится для занятия нескольких листов. Пересмотри мою антикритику, и что тебе в ней покажется лишним, выбрось. Боюсь очень, что я в ней не держусь немецкого правоверия и что в нее прокрались кой-какие ереси. Драму напечатай без имени и не читай ее никому как мое сочинение. Под сказкой [1] поставь имя сочинителя. Я читал твое объявление: оно написано как нельзя лучше, и я тотчас узнал, что оно твое. Ты истолковал название журнала и умно, и скромно. Но у нас не понимают скромности, и я боюсь, что в твоем объявлении не довольно шарлатанства для приоб-

ретения подписчиков. Впрочем, воля божия. Я подпишусь в будущий год на некоторые из русских журналов и буду за тебя отбраниваться, когда нужно. У меня, кроме плана поэмы, в запасе довольно желчи; я буду рад как-нибудь ее излить. Это письмо — совершенно деловое. Я должен тебе дать препоручение, конечно не литературное, а между тем не совсем ей чуждое, ибо дело идет о моем желудке. Посылаю тебе 50 рублей. Вели, сделай одолжение, купить мне полпуда какао и отправь это по тяжелой почте. Он продается в Охотном ряду: спроси у кого-нибудь, хоть у Эйнброда, как узнавать свежий от несвежего. Прощай, обнимаю тебя очень усердно. Что у меня еще напишется, пришлю. Мы переезжаем из деревни в город. Буду рекомендовать *Европейца* моим казанским знакомым.

Е. Баратынский

44

<Декабрь 1831. Казань>

Ежели уже получено позволение издавать журнал под фирмою *Европейца*, пусть он остается *Европейцем*. Не в имени дело. Ты меня приводишь в стыд слишком хорошим мнением о моей драме. Спешу тебе сказать, что это только драматический опыт; несколько сцен с самою легкою завязкою. Я от нее не в отчаянии только потому, что надеюсь со временем написать что-нибудь подельнее. Ежели б я вполне следовал своему чувству, я бы поступил с нею, как ты поступаешь с некоторыми из своих творений, то-есть, бросил бы в печь... Кстати: я не нахожу тебя в этом отменно благоразумным. Во-первых, не мне быть судьею в собственном деле; во-вторых, каждый, принимающийся за перо, поражен какою-либо красотою, следственно, и в его творении, как бы оно ни поддавалось критике, наверно есть что-нибудь хорошее. Что ж касается до совершенства, оно кажется не дано человеку, и мысль о нем может скорее охладить, нежели воспламенить писателя. Это думает и Жуковский, который советует беречься

Об убивающия дар
Надменной мысли совершенства.

Жуковский будет в Москве. Как жаль, что я в Казани. Поклонись ему от меня как можно усерднее. Я видел

в газетах объявление о выходе его новых баллад. Не терпится прочесть их. «Повести Белкина» я знаю. Пушкин мне читал их в рукописи. Напиши мне о них свое мнение. Спасибо тебе за то, что не ленишься писать. После каждого твоего письма я, ежели можно, еще более к тебе привязываюсь. Засвидетельствуй мое почтение милой твоей маменьке. Что с нею было? Нечего тебе сказать, что я искренне радуюсь ее выздоровлению. Обними за меня Языкова, да пришли же мне новые его пьесы.

Е. Б.

Ты мне пишешь о портретах известных людей. Но подумай, что у нас их весьма немного, что эти портреты должны быть панегириками, и тогда ни для кого не будут занимательными. Ты скажешь, что не надо называть поименно всех, но по двум или трем приметам легко узнать знакомого человека, особенно автора, а тень невосхищения будет уже обидою и личностию. Оставим наших соотечественников, но не мешает тебе положить на бумагу все, что ты знаешь о Шеллинге и других отличных людях Германии. Загадывать их не нужно, ибо надо их знать, чтобы ценить их; а многие ли с ними знакомы, не только лично, но и по сочинениям? Вот тебе мое мнение: суди сам, справедливо ли оно, или нет.

45

<Конец декабря 1831 г. Казань>

Спасибо тебе за дельную критику. В конце моего ответа Надеждину я очень некстати разговорился. Вот тебе переправка:

«Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следственно, шутку над неблагонамеренною привязчивостью *Московского Телеграфа*. Не будем оспаривать чувства собственного преимущества, которое их внушило; мы заметим только, что они не на своем месте и что могут принять их за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику: в пристрастном разборе его видно» etc.

«Недостаток логики» замени «недостатком обдуманности», и ежели еще какое-нибудь выражение покажется тебе жестким, препоручаю тебе его смягчить.

Первый № твоего журнала великолепен. Нельзя сомневаться в успехе. Мне кажется, надо задрать журналистов, для того чтобы своими ответами они разгласили о существовании оппозиционного журнала. Твое объявление было слишком скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиков. Напечатай в московских газетах, какие и какие статьи помещены в 1-м № *Европейца*. Это будет тебе очень полезно.

Я и все мои усердно поздравляем тебя и твоих с праздниками и новым годом. Дай бог, чтоб будущий нашел нас вместе.

Мы переехали из деревни в город: я замучен скучными визитами. Знакомлюсь с здешним обществом, не надеясь найти в этом никакого удовольствия. Нечего делать: надо повиноваться обычаю, тем более что обычай по большей части благоразумен. Я гляжу на себя, как на путешественника, который проезжает скучные, однообразные степи. Проехав, он с удовольствием скажет: я их видел. Прощай, до будущей недели.

Е. Б.

Благодарю тебя за какао. Вероятно, рублей 15 стоила пересылка; на остальные, если можно, пришли новые баллады Жуковского.

46

<Начало января 1832 г. Казань>

Сейчас получил от тебя неожиданную и прелестную новинку, Гизо, которого мне очень хотелось иметь. Спасибо тебе. Я замечаю, что эту фразу мне приходится повторять в каждом из моих писем. Напиши, много ли я тебе должен: теперь я в деньгах.

Я мало еще познакомился с здешним городом. С первого дня моего приезда я сильно простудился и не мог выезжать. Знаешь ли, однакож, что, по-моему, провинциальный город оживленнее столицы. Говоря — ожив-

леннее, я не говорю — приятнее; но здесь есть то, чего нет в Москве, — действие. Разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны. Всякий говорит о своих делах или о делах губернии, бранит или хвалит. Всякий, сколько можно заметить, деятельно стремится к положительной цели и оттого имеет физиономию. Не могу тебе развить всей моей мысли, скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических. Всмотрясь внимательнее в общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нем для твоего журнала; но я уже довольно видел, чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Хвалю здесь твоего *Европейца;* не знаю только, заставят ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здесь выписывают книги и журналы только два или три дома и ссужают ими потом своих знакомых. Здесь живет страшный Арцыбашев [1]: я с ним говорил, не зная, что это он. Я постараюсь с ним сблизиться, чтобы рассмотреть его натуру. Когда мне в первый раз указали Каченовского, я глядел на него с отменным любопытством, однако воображение меня обмануло:

Je le vis, son aspect n'avait rien de farouche *.

Обнимаю тебя, ты же от меня обними Языкова. Поклон всем твоим.

47

<Январь 1832 г. Казань>

Благодарю тебя и за коротенькое письмо, но не ленись и на обещанное пространное. Ты, я думаю, теперь чрезвычайно озабочен своим журналом, и тебе остается мало времени на переписку. Мне немного совестно заставлять тебя думать обо мне, но ты извинишь мне это. Я тоже не без забот, хотя другого рода. Губернская светская жизнь довольно утомительна, и то выезжая, то принимая у меня, мало остается досуга. Языков расшевелил

---

* Я его увидел, его облик не представлял ничего зверского *(фр.)*.

меня своим посланием. Оно — прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие. Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение! Я познакомился с Арцыбашевым. Человек очень ученый и в разговоре более приличный, нежели в печати, впрочем весь погрязший в изысканиях. Выше хронологических чисел он ничего не видит в истории. Здешние литераторы (можешь вообразить — какие) задумали издавать журнал и просят меня в нем участвовать. Это — в числе неприятностей моей здешней жизни. Многие имеют здесь мои труды и Пушкина, но переписные, а не печатные. Надо продавать книги наши подешевле. Отсылаю тебе *Телескоп*. Прощай, спешу посылать на почту, где между прочим лежит ко мне посылка, надеюсь, что от тебя с *Европейцем*.

48

<18 января 1832 г. Казань>

Давно не получал я от тебя писем, милый Киреевский, и не жалуюсь, ибо знаю, что хлопот у тебя много. У меня к тебе просьба: если не напечатано первое мое послание к Языкову [1], не печатай его: оно мне кажется довольно слабо. Напечатай лучше второе [2], которым я более доволен. Я здесь веду самую глупую жизнь, рассеянную без удовольствия, и жду не дождусь возвращения нашего в деревню. Мы переезжаем на первой неделе великого поста. Там я надеюсь употребить время с пользою для себя и для *Европейца*, а здесь — нет никакой возможности. Подумай, кого я нашел в Казани? Молодого Перцова [3], известного своими стихотворными шалостями, которого нам хвалил Пушкин; но мало, что человек очень умный — и очень образованный, с решительным талантом. Он мне читал отрывки из своей комедии в стихах, исполненные живости и остроумия. Я постараюсь их выпросить у него для *Европейца*. С ним одним я здесь говорю натуральным моим языком. Вот тебе бюллетень моего житья-бытья. Что ты не шлешь мне *Европейца*? Я получил баллады Жуковского. В некоторых не-

обыкновенное совершенство слова и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне даже дает охоту рифмовать легенды. Прощай, обнимаю тебя.

Е. Баратынский

49

<Февраль 1832 г. Казань>

Понимаю, брат Киреевский, что хлопотливая жизнь журналиста и особенно разногласные толки и пересуды волнуют тебя неприятным образом. Я предчувствовал твое положение, и жаль мне, что я не с тобою, потому что у нас есть сходство в образе воззрения, и мы друг друга же в нем утверждали. Мнение Жуковского, Пушкина и Вяземского мне кажется несправедливым. Приноровляясь к публике, мы ее не подвинем. Писатели учат публику, и ежели она находит что-нибудь в них непонятное, это вселяет в нее еще более уважения к сведениям, которых она не имеет, заставляет ее отыскивать их, стыдяся своего невежества. Надеюсь, что Полевой менее ясен, нежели ты, однакож журнал его расходится и, нет сомнения, приносит большую пользу, ибо ежели не дает мыслей, то будит оные, а ты и даешь их, и будишь. Бранить публику вправе всякий, и публика за это никогда не сердится, ибо никто из ее членов не принимает на свой счет сказанного о собирательном теле. Вяземский сказал острое слово — и только. Ежели ты имеешь мало подписчиков, тому причиною: 1-е — слишком скромное объявление, 2-е — неизвестность твоя в литературе, 3-е — исключение мод. Но имей терпение издавать еще на будущий год, я ручаюсь в успехе. По прочтении 1-го № *Европейца* здесь в Казани мы на него подписались. Вообще журнал очень понравился. Нашли его и умным, и ученым, и разнообразным. Поверь мне, русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить. Давай им пищу: они тебе скажут спасибо. Не упускай, однакож, из виду пестроты и повестей, без чего журнал не будет журналом, а книгою. Статья твоя о 19-м веке [1] непонятна для публики только там, где дело идет о философии, и в самом деле, итоги твои вразумительны только тем, ко-

торые посвящены в таинства новейшей метафизики, зато выводы литературные, приложение этой философии к действительности, отменно ясны и знакомым чувством с этой философией, еще не совершенно понятной для ума. Не знаю, поймешь ли ты меня; но таков ход ума человеческого, что мы прежде верим, нежели исследуем, или, лучше сказать, исследуем для того только, чтобы доказать себе, что мы правы в нашей вере. Вот почему я нахожу полезным поступать как ты, то есть знакомить своих читателей с результатами науки, дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею. Постараюсь что-нибудь прислать тебе для № 3. Ты прав, что Казань была для меня мало вдохновительной. Надеюсь, однакож, что несколько впечатлений и наблюдений, приобретенных мною, не пропадут. Прощай. Не предавайся унынию. Литературный труд сам себе награда; у нас, слава богу, степень уважения, которую мы приобретаем, как писатели, не соразмеряется торговым успехом. Это я знаю достоверно и по опыту. Булгарин, несмотря на успехи свои в этом роде, презрен даже в провинциях. Я до сих пор еще не встречался с людьми, для которых он пишет.

Е. Баратынский

50

<22 февраля 1832 г. Казань>

Начинаю письмо мое пенями на тебя, а у меня их набралось нарочитое количество. Во-первых, ты мне не пишешь, много ли я тебе должен за Гизота и за другие мелочи. Нет, с тобою нечего чиниться, особенно в этом. Во-вторых, позволь мне побранить тебя за то, что ты не говоришь мне своего мнения о моей драме. Вероятно, она тебе не нравится; но неужели ты так мало меня знаешь, что боишься обидеть мое авторское самолюбие, сказав мне откровенно, что я написал вздор? Я больше буду рад твоим похвалам, когда увижу, что ты меня не балуешь. Я получил вторую книжку *Европейца*. Разбор «Наложницы» для меня — истинная услуга. Жаль, что у нас мало пишут, особенно хорошего, а то бы ты себе сделал имя своими эстетическими критиками. Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию,

которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: *переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную* заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нем то же думаю и хочу его оставить. 2-я книжка *Европейца* вообще не уступает первой.— Мы переезжаем из города в деревню. Надеюсь, что буду писать, по крайней мере у меня твердое намерение не баловать моей лени. Если будут упрямиться стихи, примусь за прозу. Прощай, обнимаю тебя.

Е. Баратынский

Я получил какао.

51

<14 марта 1832 г. Казань>

Я приписывал молчание твое недосугу и не воображал ничего неприятного; можешь себе представить, как меня поразило письмо твое, в котором ты меня извещаешь о стольких домашних печалях и, наконец, о запрещении твоего журнала! Болезнь твоей маменьки (да и она не первая с тех пор, как мы расстались) крайне нас огорчила, несмотря на то, что, по письму твоему, ей лучше. От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик, но что в этом утешительного? Где найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру, и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. Поблагодарим провидение за то, что оно нас подружило и что каждый из нас нашел в другом человека, его понимающего, что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего.

Будем писать, не печатая. Может быть, придет благопоспешное время. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Пиши ко мне. Письма твои мне нужны. Ты найдешь убеждение это сильным.

Е. Баратынский

Жена моя усердно тебя просит извещать нас о выздоровлении твоей маменьки.

52

<12 апреля 1832 г.>

Ты провел день рождения твоего довольно печально. Надеюсь, что народное замечание не сбудется, и что этот день не будет для тебя образчиком всех последующих сего года. Много минут жизни, в которых нас поражает ее бессмыслица: одни почерпают в них заключения, подобные твоим, другие — надежду другого, лучшего бытия. Я принадлежу к последним. Не стану теперь рассуждать о предмете, который может наполнить томы, но с удовольствием переношусь мыслию в то время, когда мы опять примемся за наши бесконечные споры. «Вечера на Диканьке», без сомнения, показывают человека с дарованием. Я приписывал их Перовскому, хоть я вовсе в них не узнавал его. В них вообще меньше толку и больше жизни и оригинальности, чем в сочинениях сего последнего. Молодость Яновского служит достаточным извинением тому, что в его повестях есть неполного и поверхностного. Я очень рад буду с ним познакомиться. О свадьбе Скарятина мы поговорим, когда увидимся. Может быть, я докажу тебе, что предположения наши не были особенно неблагоразумны. Прощай. Я и жена моя поздравляем тебя и твоих с празником.

Твой Е. Баратынский

53

<Апрель — май 1832 г. Казань>

Я так давно к тебе не писал, что, право, совестно. Молчал не от лени, не от недосуга, а *так*. Это *так* — русский абсолют, но толковать его невозможно. Сегодня

мне по-настоящему некогда писать писем, потому что пишу стихи, а вот я за грамотою к тебе. Как это делается, ежели не *так*? Я очень благодарен Яновскому за его подарок [1]. Я очень бы желал с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает мое чувство к Яновскому.

О трагедии Хомякова [2] ты мне писал только то, что она кончена. Поговори мне о ней подробнее. Мне пишет из Петербурга брат, которому Хомяков ее читал, что она далеко превосходит «Бориса» Пушкина, но не говорит ничего такого, по чему можно бы составить себе о ней понятие. Надеюсь в этом на тебя.

Поблагодари за меня милую Каролину [3] за перевод «Переселения душ». Никогда мне не бывало так досадно, что я не знаю по-немецки. Я уверен, что она перевела меня прекрасно, и мне бы веселее было читать себя в ее переводе, нежели в своем оригинале: как в несколько флатированном портрете охотнее узнаешь себя, нежели в зеркале.

Сестра Сонечка [4] не сердится за то, что ты подозреваешь в Горскиной [5] немного кокетства. Дело не в этом, а в том, что до нее дошли слухи, что ты между ними находишь большое сходство, из чего следует, что ты и о ней того же мнения, а в справедливости его она не признается.

Прощай, мой милый; напиши, сделай милость, какой у тебя чин: мне это нужно для того, чтобы адресовать тебе квитанцию из Опекунского совета. Это тебе не доставит никаких хлопот: тебе вручат, и только. Что Свербеевы? Поклонись им от меня, равно как и всем своим.

Твой *Баратынский*

Напиши мне скорей о своем чине. 25 мая я выезжаю отсюда.

54

<16-го мая 1832. Казань>

Я поставлю себе за правило не пропускать ни одной почты и писать тебе хоть два слова, но еженедельно. Писать к тебе уже мне сердечная потребность, и мне легко будет не отступать от своего правила. Что́ ты говоришь о басне нового мира — мне кажется очень справедливым. Я не знаю человека богаче тебя истинно критическими мыслями. Я написал всего одну пьесу в этом роде и потому не могу присвоить себе чести, которую ты приписываешь. Изобретение этого рода будет нам принадлежать вдвоем, ибо замечание твое меня поразило, и я непременно постараюсь написать десятка два подобных эпиграмм. Писать их не трудно, но трудно находить мысли, достойные выражения. Мы накануне нашего отъезда отсюда. Тесть мой едет в Москву, а я с женою в Тамбовскую губернию к моей матери. Пиши однако мне все в Казань, покуда не получишь от меня письма, в котором я решительно уведомлю тебя о моем отъезде. Мы увидимся в конце августа, а ежели бог даст, долго поживем вместе. Прощай, обнимаю тебя.—

Е. Баратынский

Что поделывает Языков? Этот лентяй из лентяев пишет ли что-нибудь? Прошу его пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которые я должен отвечать.

55

<30 мая 1832 г. Казань>

Тесть мой поехал в Москву. Я должен был выехать в одно время в Тамбов к моей матери, где я намерен был провести лето, но нездоровье моей жены меня удержало. Пиши мне попрежнему в Казань. Не могу вообразить, что такое трагедия Хомякова. Дмитрий Самозванец — лицо отменно историческое; воображение наше поневоле дает ему физиономию, сообразную с сказаниями летопис-

цев. Идеализировать его — верх искусства. Байронов Сарданапал — лицо туманное, которому поэт мог дать такое выражение, какое ему было угодно. Некому сказать: не похож. Но Дмитрия мы все как будто видели и судим поэта, как портретного живописца. Род, избранный Хомяковым, отменно увлекателен: он представляет широкую раму для поэзии. Но мне кажется, что Ермаку он приходится лучше, нежели Дмитрию. Скоро ли он напечатает свою трагедию? Мне не терпится ее прочесть, тем более что ее издание противоречит всем моим понятиям, и я надеюсь в ней почерпнуть совершенно новые поэтические впечатления. Это время я писал все мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна, на смерть Гете, которою я более доволен, чем другими. Не посылаю тебе этого всего, чтоб было мне что прочесть, когда увидимся. Извини мне это Хвостовское чувство [1]. Прощай. Наши [2] проведут дня три в Москве. Повидайся с ними: они расскажут тебе о похождениях наших в Казани.

56

<Июнь 1832 г. Казань>

Ты мне развил мысль свою о басне с разительною ясностию. Мне бы хотелось, чтоб ты написал статью об этом. Мысль твоя нова и, по моему убеждению, справедлива: она того стоит. Я берегу твои письма, и когда мы увидимся в Москве, я тебе отыщу те два, в которых ты говоришь о басне. Ты перенесешь сказанное в них в твою статью, ибо мудрено выразиться лучше. Ты необыкновенный критик, и запрещение *Европейца** для тебя большая потеря. Неужели ты с тех пор ничего не пишешь? Что твой роман? Виланд [1], кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления. Я прочитал здесь «Царя Салтана». Это — совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия — слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к лите-

ратурному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и по возможности все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок — и только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига! Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила. Прощай, поздравь от меня Свербеева и жену его. Пиши мне по-старому в Казань. Я не знаю, долго ли здесь пробуду. В июле постараюсь быть в Москве, чтобы увидеть Жуковского и скорее тебя обнять, но можно ли будет, еще не знаю.

57

<20 июня (?) 1832 г. Казань>

Пишу тебе в последний раз из Казани. 19-го числа я выезжаю в Тамбов. Адресуй мне теперь свои письма: Тамбовской губернии, в город Кирсанов. Что ты мне говоришь о Hugo [1] и Barbier [2], заставляет меня, ежели можно, еще нетерпеливее желать моего возвращения в Москву. Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно ее разумеем и еще менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлеченность. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение. Может быть, мы и вздумаем

подражать (Barbier), но в этих систематических попытках не будет ничего живого, и сила вещей поворотит нас на дорогу, более нам естественную. Прощай, поклонись от меня твоим. Когда-то я попрошу тебя нанять себе дом в Москве! Когда-то мы с тобою просидим с 8 часов вечера до трех или четырех утра за философическими мечтами, не видя, как летит время! Однажды в Москве надеюсь долго с тобой не разлучаться и дать своей жизни давно мною желанную оседлость.

58

<4-го августа 1833. Мара>

Что ты делаешь и почему ко мне не пишешь? Неужели в самом деле потому, что не мог затвердить моего адреса? Признайся, что с твоей стороны есть небольшое упрямство, которое ты не оправдаешь никакой диалектикой. Чтоб у тебя не было отговорки, вот мой адрес: *Тамбовской губернии, в Кирсанов*. Он весьма несложен. Я до сих пор не писал тебе просто от неимоверных жаров нынешнего лета, отнимавших у меня всякую деятельность, умственную и физическую. Я откладывал от почты до почты, и таким образом прошло довольно времени. Я ехал в деревню, предполагая найти в ней досуг и беспечность, но ошибся. Я принужден принимать участие в хлопотах хозяйственных: деревня стала вотчиной, а разница между ними необъятна. Всего хуже то, что хозяйственная деятельность сама по себе увлекательна; поневоле весь в нее вдаешься. С тех пор, как я здесь, я еще ни разу не думал о литературе. Оставляю все поэтические планы к осени, после уборки хлеба. Ты что делаешь? Ты хотел усердно работать пером, и у тебя нет моих отговорок. Надеюсь, что ты не даром заручил свое слово мне и Хомякову. Недавно тебя видели у Берже [1]. Это с твоей стороны очень мило. Похож ли твой портрет и скоро ли ты мне пришлешь его? Прощай, мое почтение всем твоим. Ежели увидишь Ширяева, сделай одолжение, скажи ему, что я весьма неисправно получаю корректуру. Лист должен оборотиться в три недели, а он оборачивается в пять. Ежели все так пойдет, то я не напечатаюсь и к будущему году.

Е. Баратынский

59

<15 октября 1833 г. Мара>

Сердечно благодарю тебя за твой подарок. Я получил твой портрет. Он похож и даже очень; но как все портреты и все переводы — неудовлетворителен. Странно, что живописцы, занимающиеся исключительно портретом, не умеют ловить на лету, во время разговора, настоящей физиономии оригинала и списывают только пациента. Я помню бездушную систему Берже, объясненную мне им самим. По его мнению, портретный живописец не должен давать волю своему воображению, не должен толковать своевольно списываемое лицо, но аккуратно следовать всем материальным линиям и доверить сходство этой точности. Он и здесь был верен своей системе, отчего твой портрет может привести в восхищение всех людей, которые тебя знают не так особенно, как я, а меня оставляет весьма довольным присылкой, но недовольным живописцем. О себе мне тебе почти сказать нечего. Я весь погряз в хозяйственных расчетах. Немудрено: у нас совершенный голод. Для продовольствия крестьян нужно нам купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынешним ценам, составляет 40 000. Такие обстоятельства могут заставить задуматься. На мне же, как на старшем в семействе, лежат все распорядительные меры. Прощай, усердно кланяюсь всем твоим.

Е. Баратынский

60

<28 ноября 1833 г. Мара>

На днях получил я от Смирдина программу его журнала [1] с пригласительным письмом к участию. Не знаю, удастся ли ему эта спекуляция. Французские писатели не нашим чета; но ничего нет беднее и бледнее Ладвокатова [2] «Cent et un» *. Все-таки надо помочь ему. Его смелость и деятельность достойны всякого одобрения. При-

---

* «Сто один» *(фр.)*.

готовляешь ли ты что-нибудь для него? Знаешь ли ты, что у тебя есть готовая и прекрасная статья для журнала? Это — теория туалета, которую можно напечатать отрывком. Я о ней вспомнил недавно, читая недавно теорию походки Бальзака. Сравнивая обе статьи, я нашел, что вы имеете большое сходство в обороте ума и даже в слоге, с тою разницею, что перед тобою еще широкое поприще и что ты можешь избегнуть его недостатков. У тебя теперь, что было у него вначале: совестливая изысканность выражений. Он заметил их эффектность, стал менее совестлив и еще более изыскан. Ты останешься совестлив и будешь избегать принужденности. У тебя, как у него, потребность генерализировать понятия, желание указать сочувствие и соответственность каждого предмета и каждого факта с целою системою мира; но он, мне кажется, грешит излишним хвастовством ученостию, театральным заимствованием цеховых выражений каждой науки. Успех его несколько избаловал. Я не люблю также его слишком общего, слишком легкомысленного сенти<мента>лизма. Постоянное притязание на глубокомыслие не совсем скрывает его французскую ветреность. Как признаться мыслителю, что он не достиг ни одного убеждения и еще более, не смешно ли хвалиться этим! Ты можешь быть Бальзаком с двумя или тремя мнениями, которые дадут тебе точку опоры, которая ему недостает, с языком более прямым и быстрым, и столько же отчетливым. Прощай, кланяюсь твоим.

Е. Баратынский

Сделай одолжение: узнай деревенский и городской адрес Пушкина; мне нужно к нему написать. Нарочно для этого распечатываю письмо.

61

<4 декабря 1833 г. Мара>

Ты меня печалишь своими дурными вестями. Что твои глаза? Надеюсь, что это письмо застанет тебя зрячим. Мне случалось хвалить уединение, но не то, которое доставляет слепота. Кстати об уединении. Ты возобновляешь вопрос о том, что предпочтительнее: свет-

ская жизнь или затворническая? Та и другая необходимы для нашего развития. Нужно получать впечатления, нужно их и резюмировать. Так нужны сон и бдение, пища и пищеварение. Остается определить, в какой доле одно будет к другому. Это зависит от темперамента каждого. Что касается до меня, то я скажу об обществе то, что Фамусов говорит об обедах:

Ешь три часа, а в три дни не сварится.

Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я — старому, которое молило бога от них избавить. Ты назовешь счастием пламенную деятельность; меня она пугает, и я охотнее вижу счастие в покое. Каждый из нас почерпнул сии мнения в своем веке. Но это — не только мнения, это — чувства. Органы наши образовались соответственно понятиям, которыми питался наш ум. Ежели бы теоретически каждый из нас принял систему другого, мы всё бы не переменились существенно. Потребности наших душ остались бы те же. Под уединением я не разумею одиночества; я воображаю

Приют, от светских посещений
Надежной дверью запертой,
Но с благодарною душой
Открытый дружеству и девам вдохновений.

Таковой я себе устрою рано или поздно, и надеюсь, что ты меня в нем посетишь. Обнимаю тебя.

Е. Баратынский

62

<Весна 1834 г. Мара>

Виноват, что так давно тебе не писал, милый Киреевский. Этому причиною, во-первых, головные боли, к которым я склонен, и посетившие меня как нарочно два почтовых дня сряду; потом, я живу среди таких забот и нахожусь под влиянием таких впечатлений (я слегка говорил тебе, в каком бедственном положении здоровье моей матери), что не всегда в силах приняться за перо. Мне ли тебе задавать темы для литературных статей? Я давно выпустил из виду общие вопросы для исключи-

тельного существования. Но не задать ли тебе, например, тот самый предмет, о котором я говорю: жизнь общественная и жизнь индивидуальная. Сколько человек по законам известной совести должен уделить первой и может дать последней? Законны ли одинокие потребности? Какие отношения и перевес (balance) наружной и внутренней жизни в государствах наипаче просвещенных, и что в России? Я бы желал видеть сии вопросы обдуманными и решенными тобою. Мне нужно твое пособие в сношениях моих с Ширяевым. Вот уже два месяца, как я не получаю корректуры [1]. Я предполагаю, что для скорости он решился печатать по моей рукописи, не заботясь о том, что я могу сделать несколько поправок. На всякий случай посылаю тебе давно мною исправленную «Эду» и «Пиры», но теперь только приготовленные к отсылке. Доказательство той моральной лени, которою я одержим с некоторого времени. Посылаю тебе также предисловие в стихах к новому изданию и заглавный лист с музыкальным эпиграфом [2]. Я желаю, чтобы Ширяев согласился на гравировку или литографировку этого листа. Он может мне сделать это снисхождение за лишнюю пьесу, которую я ему посылаю. Обнимаю тебя и кланяюсь всем твоим.

Е. Баратынский

Надеюсь, что маменька и брат [3] теперь здоровы. У нас тоже всю зиму были жестокие поветрия, и все мы один за другим перехворали.

63

<1830-е годы>

Разговор, оживленный истинным разговорным вдохновением, то есть взаимною доверенностию и совершенною свободою, столь же мало похож на обыкновенную светскую перемолвку, сколько дружеское письмо на поздравительное. Разумеется, что он тем будет полнее, чем разговаривающие более чувствовали, более мыслили и чем более у них сведений всякого рода. Возможно полный разговор требует тех же качеств, как и возможно хорошая книга. Автор берет лист бумаги и старается наполнить его как можно лучше: разговаривающие же-

лают как можно лучше наполнить известный промежуток времени, и тем же самым изделием. Надобно прибавить, что ежели нужно дарование для выражения письменного, оно нужно и для словесного. Дарование это совершенно особенно. Автор углубляется в свою собственную мысль, стараясь удалить от себя все постороннее; разговаривающий ловит чужую и возносится на ее крыльях. Что́ развлекает первого, то второму служит вдохновением. Тот же ум, то же чувство, особенным образом разгоряченные, проявляются в быстром обмене слов, с красотою, с физиономиею, отличною от красоты их и физиономии на бумаге. Все предметы разговора равны, ибо все имеют непременную связь между собою и человека мыслящего ведут к одному общему вопросу. Обозревать его можно различно, и потому, сверх первых обыкновенных условий разговора, я прибавлю искреннюю, религиозную любовь к истине, сколько возможно ослабляющую упорную и самолюбивую привязчивость к нашим мнениям потому только, что они наши. Еще два слова: разговор, о коем я говорю,— дитя какого-то душевного брака и требует между разговаривающими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, и следственно, не принесет своего плода — возможно полного разговора.



Н. В. Путяте

64

<25 мая 1824 г. Вильманстранд>

Баратынский был у вас, желая засвидетельствовать вам свое почтение и благодарить за участие, которое вы так благородно принимаете в нем и в судьбе его. Когда лучшая участь даст ему право на более короткое знакомство с вами, чувство признательности послужит ему предлогом решительно напрашиваться на ваше доброе расположение, а покуда он остается вашим покорнейшим слугою.

65

<11 октября 1824 г. Кюмень>

Получил я письмо ваше, любезный мой покровитель, и не умею иначе благодарить вас за благосклонное ваше предложение[1], как принимая его с живейшею благодарностью. Меня точно бы пугала ваша столица, ежели б вы не подавали мне надежды найти в вас и наставника и защитника. Впрочем, что бы меня ни ожидало в Гельзингфорсе, случай, доставляющий мне удовольствие провести несколько дней с вами и утвердить столько же для меня лестное, сколько приятное знакомство, я почитаю очень счастливым случаем в моей жизни.

Не зная имени вашего, я не мог употребить в заглавии письма моего обыкновенной формы писем; извините меня в этом и будьте уверены, что это нисколько не ослабляет истинного уважения и совершенной преданности, с которыми остаюсь, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою

Е. Баратынский

1824-го года
11 октября.

66

<2-я половина февраля — начало марта 1825 г. Кюмень>

В шумной Москве ты не забыл финляндского отшельника, милый Путята, спасибо тебе: да благо ти будет и долголетен будеши на земли. Жаль мне, что ты не застал Кюхельбекера: он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести на жертву. Человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия. Спасибо тебе за попечение твое о моих стихотворных детках: ты всех их пристроил пристойным образом [1]. Очень меня обяжешь, ежели исполнишь свое обещание и пришлешь «Горе от ума». Не понимаю, за что москвичи сердятся на Грибоедова и на его комедию: титул ее очень для них утешителен и содержание отрадно. Что сказать тебе о моей Кюменской жизни? Гельзингфорские воспоминания наполняют пустоту ее. С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные часы, проведенные с тобою и с Мухановым [2]. Вспоминаю общую нашу Альсину [3] с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг мой, она сама несчастна: это роза, это Царица цветов; но поврежденная бурею — листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюет [4] сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мертвое ее тело: *La voilà telle que la mort nous l'a faite* *. Про нашу Царицу можно сказать: *La voilà telle que les passions l'ont faite* **. Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубоко унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу,

---

* Вот во что превратила ее смерть *(фр.)*.
** Вот во что превратили ее страсти *(фр.)*.

под счастливым небом полудня, окруженную миртами и сиренями,— вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница — все гробница, и вместе с негою печаль вливается в душу: вот чувство, с которым я приближался к женщине, тебе еще больше, нежели мне, знакомой.

Я заболтался, да немудрено заболтаться. Прощай, мой милый, кружись в вихре большого света московского, но не забывай уединенного друга, которому твое воспоминание очень дорого. Ты позабыл доставить мне твой адрес. Я прошу Муханова переслать тебе это письмо. Прощай, обнимаю тебя от всей души.

Е. Баратынский

67

<Март 1825 г. Кюмень>

Получил я второе письмо твое из Москвы, милый Путята, спасибо тебе. С живым участием прочел я его первые строки. Ежели мое сравнение удачно, то твое распространение трогательно; но холод гробницы не совсем еще умертвил твою душу: она жива для дружбы и для всего доброго и прекрасного. Заблуждения нераздельны с человечеством, и иные из них делают больше чести нашему сердцу, нежели преждевременное понятие о некоторых истинах.

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища.
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища [1].

Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое ежели сильно потрясло душу, то, может быть, развило в ней много способностей, дотоле дремавших? Не хочешь ли видеть предметы с новой точки зрения и, вместо нашей гробницы, не вспомнишь ли ты Шекспиров плуг, раздирающий и плодотворящий землю.

Но не кончишь, когда дело пойдет на сравнения. Фея твоя [2] возвратилась уже в Гельзингфорс. Кн. Львов провожал ее. В Фридрихсгаме расписалась она в почтовой книге таким образом: *Le prince Chou-Cheri, héritier*

présomptif du royaume de la Lune, avec une partie de sa cour et la moitié de son sérail *. Веселость природная или судорожная нигде ее не оставляет. Виделся я с генералом при проезде его через Ф<ридрихс>гам. Кажется, мне мало надежды на производство; но так и быть! Муханов оставил адъютантство, и корпусная квартира потеряла для меня половину своей приманчивости. Ты один теперь у меня остаешься при Гельзингфорском дворе. Остальные лица для меня более нежели чужды.

Не заедешь ли ты ко мне в Кюмень. Я живу в доме полкового командира и имею особую комнату. То-то бы ты меня обрадовал!

Пишу новую поэму [3]. Вот тебе отрывок описания бала в Москве:

Блистает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Гудят смычки; толпа гостей;
С приличной важностию взоров,
В чепцах узорных, распашных,
Ряд пестрых барынь пожилых
Сидит. Причудницы от скуки
То поправляют свой наряд,
То на толпу, сложивши руки,
С тупым вниманием глядят.
Кружатся дамы молодые,
Пылают негой взоры их;
Огнем каменьев дорогих
Блестят уборы головные.
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных Харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
С волненьем ловят каждый взгляд:
Шутя несчастных и счастливых
Из них волшебницы творят.
В движеньи все. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Кавалерист крутит усы,
Франт штатский чопорно острится.

* Принц Шу-Шери, предполагаемый наследник Лунного королевства, с частью своего двора и половиной своего сераля *(фр.)*.

68

29 марта <1825 г. Кюмень>

Я поклепал на тебя в моем сердце, милый Путята; думал, что ты приехал уже в Гельзингфорс, не повидавшись со мною. Письмо твое много меня порадовало: приезжай, приезжай, обниму тебя с нежнейшею дружбою.

По какому случаю ты ждешь письма от генерала, чтоб возвратиться в корпусную квартиру? Неужели и ты хочешь оставить Финляндию? На кого же ты меня оставишь? Сколько перемен произошло в два месяца!

Благодарю тебя за похвалы моему отрывку. В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. *Она*[1] моя героиня. Стихов 200 уже у меня написано. Приезжай, посмотришь и посудишь, и мне не найти лучшего и законнейшего критика.

Московская цензура либо невинна, как пятилетняя девочка, либо весела, как пьяная сводня; можно ли позволить напечатать такую непристойную поэму, как Леда[2]. Неужели Одоевской вытиснул под ней мое имя? Сохрани боже! мне нельзя будет показать глаз читающим дамам. Пиши после этого! Леда моя публично целуется со своим Лебедем, а буре шуметь не позволено[3]. Неисповедимы судьбы твои, о цензура русская!

На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки. Все это служит пищею гению; но вот беда: я не гений. Для чего ж все было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти.

И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но не мне и не тебе: мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом — такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо направленный.

Прощай, милый Путята, обнимаю тебя от всей души.

Баратынский

69

15 мая <1825 г. Кюмень>

Спасибо, Путятушка, за присланные письма и особенно за твое собственное. Ты в нем сказал почти все, что могло мне быть занимательным, чем отплачу тебе? Одною живою благодарностью. Получил я письмецо от Муханова: он остается в Петербурге до 20 июля, итак я надеюсь с ним увидеться. Заочно ты будешь с нами. Порадуемся и погорюем вместе. Скажу тебе между прочим, что я уже щеголяю в нейшлотском мундире [1]: это довольно приятно; но вот что мне не по нутру — хожу всякий день на ученье и через два дня в караул. Не рожден я для службы царской. Когда подумаю о Петербурге, меня трясет лихорадка. Нет худа без добра и нет добра без худа. Скажи, ежели можешь, Магдалине [2], что я сердечно признателен за ее участие. Она не покидает моего воображения. Напиши мне, какую роль играет Мефистофелес и каково тебе. Я часто переношусь мыслями в ваш круг; но, может быть, он уже не похож на круг мне прежде знакомый. Мы скоро выступаем в поход: адресуй мне свои письма либо на имя Муханова, либо на имя барона Дельвига в импер. библиотеку. Прощай, душа моя, обнимаю тебя от всего сердца.

Е. Баратынский

70

<Нач. августа 1825 г. Петербург>

Виноват, милый Путята, виноват, но не сердцем, истинно к тебе привязанным, а нравом беспечным и ленивым. Давно не писал к тебе, но не переставал о тебе думать, не переставал вспоминать о нашей гельзингфорской жизни и о дружеском твоем появлении в Кюмени.

Ты можешь себе вообразить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с Агр<афеной> Фед<оровной>, с Мисинькой [1] и, наконец, с Кароли-

ною Левандер[2], которая вовсе было вышла из моей памяти. Я уже два раза их видел. Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия. В сентябре думаю побывать в Гельзингфорсе, чтобы поблагодарить генерала за мое воскрешение и пожить с тобою.

Многие подробности оставляю до первой почты. Письмо это доставит тебе Аграфена Федоровна. Она очень любезно вызвалась на это. Она же может сообщить тебе, почему я не успевал к тебе писать, почему не приехал в Парголово и проч. и проч.

Проводил я Муханова в Москву: он поехал беспокойный и грустный и будет таковым повсюду. Какой несчастный дар — воображение, слишком превышающее рассудок! Какой несчастный плод преждевременной опытности сердце, жадное счастия, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение Муханова, и мое, и большей части молодых людей нашего времени.

Через несколько дней мы возвращаемся в Финляндию, я этому почти рад: мне надоело беспричинное рассеяние, мне нужно взойти в себя, а взошед в себя, я, наверно, встречусь с тобою и чаще стану к тебе писать. Ты, я думаю, видишь по слогу этого письма, в каком беспорядке мои мысли. Прощай, милый Путята, до досуга, до здравого смысла и, наконец, до свидания. Спешу к ней: ты будешь подозревать, что и я несколько увлечен. Несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия чудесный талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары. Прощай, обнимаю тебя.

Баратынский

Письмо, приложенное здесь, я сначала думал вручить Магдалине; но мне показалось, что в нем поместил опасные подробности. Посылаю его по почте, а ей отдаю в запечатанном конверте лист белой бумаги. Как будет наказано ее любопытство, если она распечатает мое письмо! Прощай.

71

<Ноябрь 1825. Москва>

Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь еще не выезжаю; однакож в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Рылеевым и с Мухановым. Странно, что, проживши почти два месяца в Москве, я принужден писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. Я отдал письмо твое Муханову. Что скажу тебе про него? Он живет домком, много читает, жалуется на хандру и оживляется одними финляндскими воспоминаниями; однакож признается, что страсть к Авроре [1] очень поуспокоилась. Все проходит!

За неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашел семью свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашел мать мою в самом жалком положении, хотя приезд мой оживил ее несколько. Брат Путята, судьба для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной ее нежности ко мне, я должен (и почти для спасения ее жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь все то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом... Прощай, свобода, прощай, поэзия! Извини, милый друг, что я налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться.

Я думаю просить перевода в один из полков, квартирующих в Москве. Не говори покуда об этом генералу: к нему напишут отсюда. Я слышал, что ты будешь скоро к нам в белокаменную. Приезжай, милый Путята,

поговорим еще о Финляндии, где я пережил все, что было живого в моем сердце. Ее живописные, хотя угрюмые, горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину. Прощай, мой милый. Я отослал письмо твое к Ознобишину [2]; но за нездоровьем с ним еще не виделся. Преданный тебе

Е. Баратынский

72

<Около 19 января 1826 г. Москва>

Спасибо тебе, милый Путята, за твои письма. Одно из них принесло двойную пользу: доставило мне большое удовольствие и успокоило твою матушку [1], которая некоторое время не получала о тебе известия и несколько горевала.

Немудрено, что от тебя ускользнуло описание Финляндии [2], которое ты нашел в «Телеграфе». Оно писано не в Гельзингфорсе, а в Москве. На днях выйдет моя «Эда», и я тотчас пришлю к тебе экземпляр. Любезного Буткова [3], нежного обожателя Ф. В. Булгарина, благодарю за замечание; но прибавлю свое. В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта скалы касаются неба, следственно всходят до небес. В прозе я виноват, а в стихах едва ли не прав. Между тем вот ему на потеху маленькое посланьице к его приятелю:

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья и сказанья;
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод:
Срамец, срамец! все шепчут.— Вот известье!
Эх, не тужи, уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье.

Я думаю послать хорошо переплетенный экземпляр «Эды» генералу [4]. Я позабыл поздравить его с новым годом; а теперь уж поздно. Мне этого очень совестно.

Я бы не хотел, чтоб он мог подумать, что я позабыл моего благодетеля. Негодная поэтическая беспечность!

Я скучаю в Москве. Мне несносны новые знакомства. Сердце мое требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжелое чувство. Гляжу на окружающих меня людей с холодною иронией. Плачу за приветствия приветствиями и страдаю.

Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня новое изгнание. Для чего мы грустим в чужбине? Ничто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина? Извини мне мое малодушие, но в скучной Финляндии, может быть, ты с некоторым удовольствием узнаешь, что и в Москве скучают добрые люди. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Благодарю Александра[5] за незабвение; а я тебя и его очень помню.

Баратынский

73

<Январь 1826. Москва>

Милый Путята, вот письмо к А. А. Закревскому об моей отставке; я прошу тебя, милый друг, или просто отдать письмо мое А. А. или объяснить ему, почему я так поздно прошу его ходатайствовать об увольнении меня от службы. Я послал просьбу мою в полк прежде петерб<ургских> смятений. Во время оных, несколько испуганный, я написал к Лутк<овскому>, чтоб он удержал мою просьбу. Когда все поуспокоилось, я снова просил его отправить прошение мое по команде. Теперь же я хорошенько не знаю (не получал известия от Лутковского), мог ли он остановить его или нет. Ежели нет, то прошение мое давно уже дошло до вас, ежели да, то вы на днях его получите. Окажи мне это одолжение, да еще одно. Я, право, не знаю, жив ли мой Лутковский или нет: он мне не отвечает. Извини, что я беспокою тебя моими препоручениями, но ты чувствуешь, что на тебе одном все мои надежды.

Я довольно часто вижу Муханова. Кажется, что любовь его к Авроре очень поуспокоилась. На днях познакомился я с Толстым, Американцем[1]. Очень занимательный человек. Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибется.

Стихи у меня что-то не пишутся, и я почти ничем не занят. Когда решится судьба моя, более спокойный духом, снова примусь за перо. Вот тебе покуда эпиграмма на поэтов прекрасного пола:

Не трогайте Парнасского пера...

(см. стр. 82)

Обнимаю тебя.

74

<Ноябрь 1826. Москва>

Как мне жаль, милый Путята, что мне не удалось с тобой проститься при отъезде твоем из Москвы; а с тех пор от тебя ни слуху ни духу: что с тобою? Я узнал от твоей матушки, что ты еще в Петербурге и, по московским слухам, что ты не поедешь далее. Здесь говорят, что Закревский будет министром юстиции. Дай Бог! Я думаю, тебе и ему равно надоела Финляндия. Один из моих братьев приехал из Тульчина и привез известия о Муханове: в новом положении он скучает по-прежнему. В Тульчине еще скучнее, чем в Гельсингфорсе. Брат мне рассказывал подробности тамошней жизни. Витгинштейн[1] живет в своей деревне и ходит за своими виноградниками, а штаб его в городе. Он добрый немец, счастливый в своем семействе, эконом, ни в чем не похожий на нашего герцога[2]: у него не за кем волочиться, не о чем хлопотать, не с кем мириться и ссориться, одним словом — нет двора. Доставил ли ты письмо мое Дельвигу? Я не получаю от него ни строчки. Сделай милость, попеняй ему и узнай, печатаются ли мои сочиненья или нет. Скажи Дельвигу, что я на него очень сердит. Три письма мои к нему остались без ответа. Писать к человеку, который нам не отвечает, все равно что яриться на облако, подобно какому-то баснословному герою. Будь милее Дельвига, милый Путята, не забывай меня и пиши ко мне.

Я живу потихохоньку, как следует женатому человеку, и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастия. Из действующего лица я сделался зрителем и, укрытый от ненастья в моем углу, иногда посматриваю, какова погода в свете. Прощай, мой милый, люби меня, если не хочешь быть у меня в долгу, и верь, что у меня в сердце всегда готово участье для радостей твоих и печалей.

75

<Апрель (?) 1828 г. Москва>

Я перед тобой смертельно виноват, мой милый Путята: отвечаю на письмо твое через три века; но лучше поздно, нежели никогда. Не думай, однакож, чтобы я имел неблагодарное сердце: мне мила и дорога твоя дружба, но что ты станешь делать с природною неаккуратностью?

Прости, мой милый, так создать
Меня умела власть господня:
Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!

Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, слава богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику.

Благодарю тебя за твою дружескую критику. Замечания твои справедливы в частности; но ежели б мы были вместе, я, может быть, доказал бы тебе, что некоторые из моих перемен хороши для целого. Впрочем, я никак не ручаюсь за справедливость своего мнения. Поэты по большей части дурные судьи своих произведений. Тому причиной чрезвычайно сложные отношения между ими и их сочинениями. Гордость ума и права сердца в борьбе беспрестанной. Иную пьесу любишь по воспоминанию чувства, с которым она писана. Переправкой гордишься, потому что победил умом сердечное чувство. Чему же верить? Одним я недоволен в письме твоем: оно не совсем дружеское. Ты пишешь ко мне как к постороннему, которому боишься наскучить, говоришь много обо мне и о себе ни слова. Что твоя Альсина? Все ли по-прежнему держит тебя в плену? Кстати, я слышал;

что А<рсений> А<ндреевич> сделан министром внутренних дел; остаешься ли ты при нем? Думаешь ли побывать в красной Москве? Я теперь постоянный московский житель. Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, но, признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера суха, пыльна неимоверно. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые. Волокитство доставляет молодому свободному человеку почти везде (?) небольшое рассеяние: он переливает из пустого в порожнее с какой-нибудь пригожей дурой, и горя ему мало. Человек же семейный уже не способен к этой ребяческой забаве; ему нужна лучшая пища, ему необходим бодрый товарищ, равносильный ему умом и сердцем, любезный сам по себе, а не по мелочным отношениям мелочного самолюбия. Приезжай к нам, мой милый Путята, ты подаришь меня истинно счастливыми минутами. Прощай, прости великодушно мою лень и прочие мои недостатки. Люби меня за то, что я люблю тебя душевно. Твой

Е. Баратынский

Адрес мой: На Никитской, у прихода Малого Вознесения, дом Энгельгардта.

Я пришлю Магдалине экземпляр, но не поздно ли? Доставил ли тебе Дельвиг экземпляр от меня?

76

<Лето 1830. Москва>

Переписка наша, милый Путята, прервалась просто потому, что ты уехал в армию [1], и я не знал, куда адресовать тебе мои письма. Благодарю тебя за твое дружеское воспоминание. Ты меня им истинно порадовал. Письмо твое мне показывает, что есть еще люди, с которыми можно вспомнить старину и подышать ею. Я тоже не переставал помнить и любить тебя. Милый

мой Путята, мы с тобою редкие люди! Как бы я хотел тебя видеть и поговорить вдоволь души. Знаю твои теперешние огорчения и принимаю в них самое живое участие. Утешать тебя нечего; но мы бы погоревали вместе. Ты познакомил меня с Адрианополем [2]. Письмо твое живо и занимательно: ты бы отдал его в «Литературную газету». С тех пор, как мы расстались, в жизни моей не было никакой перемены, и слава Богу. Ты все еще при Арсении Андреевиче. Напиши мне, что у вас поделывается, ведь я de la famille *. Как я живо помню гельсингфорскую жизнь! Ты по обязанности часто посещаешь Финляндию. Поверишь ли, что я бы с большим удовольствием теперь навестил ее? Я думаю о ней с признательностью: в этой стране я нашел много добрых людей, лучших, нежели те, которых узнал в отечестве; нашел тебя; этот край был пестуном моей поэзии. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты. Прощай, милый Путята, пиши ко мне: я не буду ленив на ответы. Обнимаю тебя от всей души.

77

<Июнь (?) 1831 г. Казань>

Поздно отвечаю на письмо твое, милый Путята, но ты со мною помиришься, когда узнаешь, что я получил его весьма недавно, что оно мне было переслано из Москвы в Казань, где я теперь нахожусь со всем моим семейством. Благодарю тебя за доставление «Наложницы» по адресу и за твои замечания. Не спорю, что в «Наложнице» есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор «Эды» сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побежденных трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в «Наложнице» непринужденнее, естественнее, описания точнее, проще. Собственно же дурных мест в «Эде» гораздо больше, нежели

* Человек семейный *(фр.)*.

в Саре. В последней можно критиковать стих, выражение; а в «Эде» целые тирады, например: весь разговор гусара с Эдой в первой песне. Обыкновенно мне мое последнее сочинение кажется хуже прежних, но, перечитывая «Наложницу», меня всегда поражает легкость и верность ее слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в «Наложнице» видна некоторая небрежность, зато уж совсем незаметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выйти совершенным победителем или не браться за дело. Я заболтался, мой милый. Извини, что с тобою спорю. Ты знаешь, что я охотно соглашаюсь с критиками, когда нахожу их справедливыми; но на твою не согласен. Желал бы сказать тебе что-нибудь занимательное, но я живу в совершенном уединении и ничем не могу с тобою делиться, кроме своими мыслями. Вижу по газетам, что у вас не прекращается холера; но знаю по опыту, что умеренностью в пище и старанием не простудиться наверно можно ее избегнуть. Надеюсь, что ты не будешь ее жертвою и что бог дозволит нам еще раз обнять друг друга. Прощай. Адрес мой: на мое имя в Казань.

Е. Баратынский

78

<Февраль 1838>

На место Макарова предлагает себя к нам в управители бывший уже у нас правителем Дьяков. Посылаю тебе письмо тестя, в котором он его благодарит за управление. Сверх того писарь при мне, человек, управлявший нашим тамошним имением в то время, как Дьяков правил остальною частью, которого я о нем расспрашивал. Он говорит, что Дьяков отменно знает дело, всегда трезв и деятелен, одним словом, лучший из управителей, когда-либо у нас бывших. Я полагаю это обстоятельство очень счастливым, ибо очень трудно найти управителя (не говорю уже честного, ибо таких нет и всякий требует присмотра), но деятельного и знающего. При сих двух последних условиях, если управитель

еще знает край и способ имения (?), поступающего под его надзор, по-моему, нечего и думать; почему для имения, находящегося под опекою, и для своего я решаюсь на Дьякова. Если ты поверишь и свое имение ему, я не думаю, чтобы ты сделал ошибки; но как все должно предвидеть, если у тебя есть в виду сколько-нибудь знающий человек, то теперь удобный случай, не обижая никого, отделить управление имением Сонички от общего, что имеет многие выгоды: удобность ближе присматривать, соревнование с соседним управителем, контроль и строжайшая проверка.

Завтра пошлю вам 1000 из скуратовских доходов. На первой неделе поста заплатит Чивалев, и я отправлю вам следуемые вам 6000 и 2000 долгу нашей Соничке. К святой окончательный отчет и расчет вместе с суммами, следующими на вашу долю.

Обнимаю вас, мои милые, будьте здоровы. Пришлите мне куплеты Вяземского, петые на празднике, данном Крылову.

Е. Баратынский

79

<Август 1838>

Чивалев еще не заплатил; но заплатит скоро. Замедление происходит от того, что, не имея наличных денег, он должен перезаложить дом, а как и нам нельзя рисковать довольно большою суммой, то дело делается установленным порядком через гражданскую палату, которая все не кончает всех справок. Посылая вам в счет чивалевских денег 2000 асс., между тем должен предупредить, что доходы наши нынешний год примерно плохие. Скуратово даст не более 6000, из коих почти 2000 следует в Опекунский совет. С Каймар дай бог, чтобы посчастливилось нам по 2000 т. Жду ответа от Дьякова. Если он примет мои условия, состоящие в 1600 жалованья, из коего на вашу часть придется 400, то на нынешний год мы можем быть совершенно спокойны. Узнав, что ты собираешься в Казань, я думал было с тобою ехать; но не могу: присутствие мое нужно в Москве для конечной отстройки дома. Я надеюсь, что мы будем довольны Дьяковым; если же нет, то в ту пору и примем нужные меры, которые между тем и успеем

обдумать. По всем вероятностям, не в первые два года он предается беспечности или собственным расчетам. Обнимаю тебя от всей души.

Е. Баратынский

80

<Начало 1839>

Вероятно, тебя, как и Соничку, удивило намерение наше ехать в Крым. Это давнишнее наше желание, к тому же морские ванны жене и мне необходимы. Если мы для чего-нибудь едем, то это для здоровья. Наше путешествие делает необходимым разные перемены в общем нашем хозяйстве, и я прошу тебя, любезный друг, принять в свое распоряжение имение, находящееся под опекою. Ты намерен был ехать нынешний год в Казань. Если б в конце апреля или начале мая вы бы собрались, то мы май месяц провели бы вместе в Москве, кроме дней десяти, которые ты бы провел в Казани, и во всем бы условились.

Насчет Скуратова, которое также будет под твоим надзором: Иван нашел на свое место управителя, грамотного унтер-офицера. Я перевожу его в Мураново, с тем, чтобы он имел право ревизировать им же самим выбранного управляющего и в случае каких-либо дел ездил на место их схлопотывать. Управителю жалованья 300 и весьма умеренное содержание.

Напиши, будешь ли ты в Москве или нет. Очень бы нужно мне было с тобою видеться (говорю теперь в одном деловом смысле). Надо сдать мне тебе все бумаги. На словах все бы пошло легко, а письменно объяснять почти невозможно. Если мы не увидимся, я пришлю тебе доверенность полную от жены и на Каймары [1] и на Скуратово. Бумаги приведу в порядок и пришлю тебе. Самое трудное — отношение с опекой. Думаю ввести в смысл их быта твоего Ивана Васильевича, который в затруднительных случаях может о нас похлопотать. Обнимаю тебя, Соничку и Настю, ожидая с нетерпением твоего ответа.

Е. Баратынский

Доставь, сделай одолжение, прилагаемое письмо Плетневу.

81

<Конец 1839>

Посылаю для подписания Сонички опекунские отчеты, которые нынешний год стоили двойного труда от перевода ассигнаций на серебро. Возвратите мне их как можно скорее. Что ты мне пишешь о расчетах опеки по деньгам, полученным из Монахова? Нам должно на будущий год показать (?) их в приходе, да и только. Нам из них следует $^2/_7$. Остальное Пьеру [1]. Считай покуда, что я вам должен из скуратовских доходов 200.— 800 ты получил. На будущий год, когда Пьер не будет жить у Саблера [2], а так сказать, своим домом, с отчетами легко будет ладить.

Бекера [3] я не думал посылать для заведения нового порядка, а только поверить, точно ли почти весь каймарский овес жат в прозелень и не годится ни на пищу, ни в продажу; взглянуть на мельницы и оценить их перестройку. Вообще разведать, что там делается и какой оброк расположены дать крестьяне, но это стороной и без всяких от меня предложений. С тех пор я еще много думал. Не решусь ни на что опрометчиво и не приняв предварительно твоего совета. Дела мудреные. Примерь 10 раз, а отрежь раз. Я писал Дьякову подробно обо всем, чем не доволен. Покуда что надеюсь, что внимание, которое я обращаю на хозяйство, сделает его осторожным.

Соничке надобно подписаться в обеих тетрадях. В той, которая за печатью — в одном месте, в конце, под подписью Насти. В другой — в двух местах: под итогом <нрзб. 1 слово> и итогом хлебным; то же под Настей и точно так же, как она.

82

<Конец 1839>

Посылаю тебе, милый Путята, отчеты в дворянскую опеку, которые должно подписать Соничке. *Под подписью моей жены однаким образом с нею.* Соничка нам говорит, что ты все собираешься к нам писать и не

успевая, совестишься. Полно, брат, заботиться об этом. Самая дружеская переписка есть деловая. Кстати о деле. Поскорей пришли мне обратно бумаги, подписанные Соничкой. Они должны быть поданы не позже 4-го января. В будущем году я буду их заготовлять пораньше. Прощай, обнимаю тебя как друг и брат. Поцелуй за меня Соничку.

Е. Баратынский

P. S. Прошу полюбоваться моим трудолюбием и заметить, что все отчеты в опеку писаны моей рукою. Соничкины пять подписей, два раза в книге, под рапортом, и в двух местах под кратким счетом.

83

<Осень 1840 (?)>

Со всех сторон такие дурные вести и наступающий год так грозен бедностью доходов и предлежащими расходами, что мы решились отказаться от Петербурга и провести нынешний год в деревне. Посылаю за детьми надежного человека, бывшего моего дядьку Михея. Отправьте с ним, любезные друзья, в моей каришневой карете. Надеюсь видеться с вами в Москве. Я не со всем точно расчелся. Сколько помню, мне следует заплатить в О<пекунский> С<овет> за имение Сонички 4.200, да 2.000 послано за вас в Скуратово — итого 6.200. Вы платите 5.600 в Государственный Совет за Пьера, да 500 я вам должен по мурановскому счету — итого 6.100. Теперь надобно справиться у Дмитрия в книге, сколько поступило к нему скуратовского овса. Вам следует половина. По этому расчету я буду у вас в небольшом долгу; но совершенно не помню, по какому соображению. Я полагал в Москве, что, напротив, небольшой долг будет за вами: есть издержки, которые я позабыл. У тебя все записано, брат Николай, справься, пожалуйста. Теперь об лесе. Кажется, что 600 + цена крайняя, равно нельзя соглашаться и более как на три срока. Если же уже дойти до 575, то все-таки лучше иметь дело с Царским, нежели с маломощными купцами.

Кичеев[1] предупреждал, и насчет контракта ты можешь говорить свободно. Касательно наших каймарских монахинь я одного с тобою мнения. Обнимаю вас от всей души.

Е. Баратынский

84

<Начало 1840-х>

Посылаю тебе, любезный друг, новые условия Дьякова о сдаче мельницы, более выгодные, где арендная сумма уже 3.500 и новых построек гораздо меньше. Ты увидишь из письма его, что он требует от меня скорого ответа. Боясь в переписке упустить счастливую спекуляцию, я послал ему согласие. Крестьянам эта возка не будет слишком обременительна. Крестьянам с лошадью все равно, так или иначе работают на господина три дня в неделю. К тому же по числу каймарских тягол те же крестьяне будут поступать на возку только один раз в пять лет. Если же будет ропот, можно дать им некоторые льготы и успокоить их. Не вини меня в опрометчивости. Я долго колебался, наконец, посоветовавшись с здешними хозяевами, решился.

Вижу по письму твоему, что у тебя куча дела. Авось этому будет добрый исход. Обнимаю тебя, Соничку и малюток.

Е. Баратынский

85

<Начало 1840-х>

Мне приходится все писать тебе о деле. Саблеру я заплатил 5 т. из денег, приготовленных мною для уплаты процентов, которым срок в октябре. Черткову еще нет, потому что гражданская палата, как бы ей следовало, не прислала копии с данной мне доверенности в Опекунский Совет, почему замедлена выдача денег (надеюсь, только на несколько дней). Объявление на лампу мы получили. За мурановский лес дают по 550 + асс. десятину: это составляет 82 т. 20 т.— вперед,

остальные в три срока. Кажется мне, что не должно колебаться — и продать. Цена хорошая и покупщик надежный. Скажи мне свое мнение, дабы я мог приступить к делу. Батюшка твой, которому я описал свойство и положение леса, оценил его в 500, но не помню — асс. или монетой. Прощай, обнимаю тебя и Соничку. Свидетельствую мое почтение Настасье Николаевне.

86

<Осень 1841>

Долго я думал о сбыте нашего мурановского леса, о причинах, по которым он и за среднюю цену не продается, и нашел главных две: 1-е, что купцы так часто у беспорядочных дворян имеют случай покупать лесные дачи почти задаром, что им весьма мало льстит покупка, представляющая только 20 обыкновенных процентов: 2-е, боязнь ошибиться самим в настоящей ценности леса неровного, неправильно рубленного и проч. Из этого я на первый случай заключил, что должно хотя несколько десятин свести самому хозяину и постараться сбыть бревнами и дровами. Наконец вспомнил, что я в Финляндии видел пильную мельницу. Надобно, во-первых, вам сказать, что, думая сам сводить нашу лесную дачу и не зная, как предупредить злоупотребления и облегчить сбыт, я обратил внимание на нашего Бекера, который имеет очень много хозяйственных сведений и как купеческой сын сохранил в Москве по сию пору разные коммерческие связи. Я предложил ему взять на себя присмотр за сводом леса и продажу материалов за 10 процентов, когда выручка будет превышать 600 + за десятину, и он принял мое предложение. Я стал ему говорить о пильной мельнице. Вышло, что они очень обыкновенны в Курляндии и стоят вовсе недорого. Когда же я вычислил баснословную выгоду, которую нам может принести устроение подобной мельницы, я ухватился за мысль и тотчас принялся за дело.

Вот вкратце расчет. Я вымерил самую среднюю десятину и счел на ней 400 пней.

400 пней дают 800 бревен (и с лишком, потому что лучшие деревья дают 3 бревна).

Каждое бревно дает 4 доски, итого 3200 досок.

В Москве доски самого последнего сорта стоят 200 сотня.

Если положить доску только по одному рублю, то десятина даст 3200.

Сверх того остаются: третье тонкое бревно, которое пилится на тес, и осиновой и березовой лес, равно и горбыли, которые пилятся в дрова, макушки, которые пойдут на домашнее отопление и на кирпичный завод, который я хочу устроить в то же время. Кругом десятина, при самом среднем счастии, должна дать до 5000 +.

Я отыскал механика г-на Прагста, который подобную мельницу строил на Нарвском водопаде. Он приезжал ко мне в Мураново, потому что я сначала думал заменить нашу мукомольную мельницу пильною, но вода оказалась недостаточной. Наша мельница будет приведена в движение 8-ю лошадьми.

Издержки

Машина	7000
Наружное строение	1500
10 пил, запас достаточный лет на 10 . .	2500
16 лошадей	1600
	12 600

Мельница будет давать до 500 досок в сутки; в год можно свести до 25 десятин. В пять лет вся операция будет окончена. Если же продажа будет успешна, то я поставлю другую мельницу, которую Прагст обязуется мне устроить за 5500, и тогда сведу лес в $2^1/_2$ года.

Ты видишь, какой ничтожный капитал нужен для самых блестящих результатов! Надеюсь, что ты не поколеблешься взять убытки и барыши предприятия пополам, но за свою мысль и за свои хлопоты я прошу 10 процентов, когда десятина будет приносить свыше 1000.

Контракт с Прагстом уже сделан. К наружному строению приступаю.

Главный ежегодный расход состоит в корме лошадей, но часть вознаградится лучшим удобрением полей. Я надеюсь, что все ежегодные издержки покроются одним доходом с кирпичного завода.

Прощайте, устал смертельно от длинного делового письма.

Главное: трудно сбыть товар, которого цена неопределенна, как лес на корню. Когда он обратится в доски, в дрова, продашь дешево, но продашь как хлеб; а лес после хлеба первая необходимость.

Не удивляйся огромной выгоде, на которую я надеюсь. Купцу распилить 400 пней в доски обыкновенным способом стоит до 3000. Сверх того он платит за свалку и пилку в бревна, что́ у меня будут делать свои. Приложи к этому цену самого леса, и у тебя не останется никакого сомнения.

Кирпичный завод пойдет наймом. Берут 7 + с тысячи... На обжиг пойдет оборышь лесу, который без того пропал бы даром.

В Казань, разумеется, мы уже не едем. Мы нанимаем дом у Пальчиковой, в Артемове. Соничка знает эту деревню: она от нас 3 версты, а от лесу в том же расстоянии, как и Мураново.

Касательно казанского хозяйства, я, кажется, нашел верной способ завести там оброчное состояние, избегая обыкновенной его неудобности — неплатежа оброка. Мысль мою сообщу тебе в другой раз.

Надеюсь этим годом все наши хозяйственные дела, в том числе и опеку, устроить таким образом, что они вперед уже мало меня будут заботить и мне можно будет возвратиться к прежним, мне более привычным занятиям.

Все мы, слава богу, здоровы. Я между прочим бодр и весел, как моряк, у которого в виду пристань. Дай бог не ошибиться.

87

<Февраль (?) 1842. Артемово>

Еще пределовое письмо, любезный друг. Посылаю тебе, во-первых, грамоту скуратовского управителя, который давно пристает ко мне о необходимости приобрести участок, состоящий из 30 десятин земли и при нем 4-х дворах г-жи Позняковой. Со всеми другими соседними помещиками мы теперь уже разошлись полюбовно; но с нею физически нельзя. Земля ее с ее дворами лежит в самом центре нашей, как остров, меняться не на

что. Одна земля стоит 3000 +, а в числе продаваемых душ два работника 22 лет, остальные тоже не совершенно стары. Она просит 4000. Цена настоящая, и для спокойного владения в будущем стоит купить этот уголок.

Скуратово заложено на 26 лет, уплачено долгу 10 000. За прошлый год проценты не плачены, за нынешний следует внести, всего за два года 5600, да возьмут за годовую просрочку около 200, за сим останется 4200. Дайте мне доверенность перезаложить Скуратово на 36 лет с правом взять уплаченный капитал. Долг останется тот же; вместо 7 процентов мы будем платить 6, что будет нам и полегче. 6000 капитала пойдет на уплату процентов, а на остальные 4000 купим этот участок вместе, или Настя купит одна, а 2000 мы зачтем вам за пильную мельницу.

Посылаю тебе старые платежные квитанции по скуратовскому займу. По ним можно аккуратно написать доверенность.

Теперь о мурановской операции. В первой смете моей, как ты, вероятно, ожидал, я значительно ошибся, не так, однакож, чтобы раскаяться в предпринятом. Лес наш до такой степени изведен, что нет десятины похожей одна на другую. Каждая дает новый результат. К тому же, как это открылось на деле, ели наши имеют весьма невыгодное свойство на половине необыкновенно суживаться, так что, судя по толщине пня, там, где я, как другие, думал из дерева иметь два бревна на пилку, выходит одно, где три, там два и т. д. Из этого следует, что дровяного леса больше, а способного к пилке меньше, чем я думал.

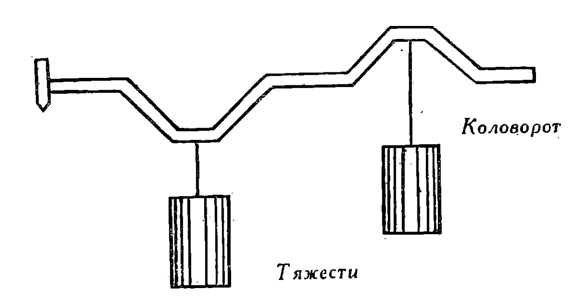
У меня сведено теперь 11 десятин. Одна на одну они дают, считая и сучья, по ценам, существующим на месте, только 740 + за всеми издержками.

Сведенные десятины те, в которых преизобилует дровяный лес. Теперь мы дошли до строевого участка. К маслянице сведется 10 десятин. О результате уведомлю.

Машину неделю тому назад пробовали начерно, т. е. на один готовый постав и без пил, чтобы испробовать тяжесть. На 8-ми лошадях, новая, не обтертая, она пошла хорошо и даже слишком. Лошади привели ее в первое движение с большим напряжением, но вдруг,

почувствовав облегчение от действия махового колеса, понесли, все затрещало, и мужики наши разбежались в страхе.

При двух поставках огромной силы, нужной для первого движения, уже не требуется. Ты, который знаешь механику, тотчас поймешь это из чертежа.



Чугунная рама, в которой натягиваются пилы второго постава, не была еще привешена. Когда обе на месте, тяжесть опускающейся помогает другой возвышаться.

Машина не будет в убыток. Пилка может производиться только в зимние месяцы. Летом от жару трескаются доски и работа прекращается. Я прежде рассчитывал, что купленные лошади будут работать в машине 7 месяцев, а остальные пять возить доски и дрова в Москву. Складочным местом назначил я задний двор моего дома.

Теперь наши лошади, по недостатку материала, в машине будут работать 3, а возить семь месяцев.

Полагаю держать их до 20-ти. Прокормление их, по самой высшей цене теперешней, в неурожай ярового, стоит, полагая каждой в сутки по 3 гарнца овса и по 20 ф. сена, 2515.

При 20-ти лошадях для работы в машине, когда она в ходу, а потом для возки нужно 5 человек. Содержание их в год стоит 300.

В каждую поездку, взяв среднюю цену, лошадь приносит 5 рублей: легко может сделать в неделю 2 поездки, в месяц 8-мь, итого вырабатывает в 7 месяцев 280.

20-ть лошадей в 7 месяцев принесут 5600.

Остается каждый год за издержками 2815 +, что в 5 лет составит 13 925+. Вся операция вознаградится с избытком; пилка обойдется ни по чем, следственно принесет значительный барыш, ибо руками проход доски стоит от 35 до 25 к.; тесу — от 20 до 15-ти.

Теперь об управлении. Ты знаешь, что я избрал Бекера. Он имел уже понятие об сельском хозяйстве, но курляндском. Нынешнее лето он следовал за всеми работами и очень вник в дело. Всю зиму находился при своде леса, отводил десятины, ибо знает землемерство. Сам же воспитывался для коммерции. Славно ведет книги, деятелен и подробен...

Я с ним условился за дорогую цену: но он не будет нам стоить дороже Ивана. Иван получал 300 жалованья, рублей на 300 же разной покупной провизии, говядины, свинины, постного масла, пшеничной муки, сальных свеч и проч. Сверх того получал на 11 душ обыкновенное продовольствие наших дворовых. Выдаваемое натурой, положив в цену хоть по 5 + на человека, 660. Итого 1260.

Я дал Бекеру 2000 с тем, чтоб он взял к себе в товарищи и под присмотр Петра Львовича. 1200 +, вносимые Саблеру, поступят ему, и Бекер нам будет стоить 266 рублями дешевле Ивана.

Этим я достигаю двух целей: нахожусь в состоянии дать приличное жалованье человеку способному и, вероятно, надежному, да облегчаю себе опекунские отчеты, которые нет возможности долее подавать в их теперешнем виде. Это мне говорят все. Нынешний год сойдет, потому что неурожайный.

10 процентов, как ты знаешь, были выговорены в самом начале, если десятина даст свыше 600 +. Русские лесничие, являвшиеся ко мне, тоже просили 10 процентов.

Вспомогательные средства. Я условился со скуратовским управляющим, рассудив, что, с тех пор как мы дозволили крестьянам нашим почтовую гоньбу, весь яровой хлеб наш расходится на месте, и возка хлеба для них уменьшилась вполовину, извлечь себе из этого ту пользу, чтобы скуратовские крестьяне делали ежегодно два обоза с рожью в Москву. Я недавно построил на дворе у себя амбар, и есть куда сыпать. При каждом обозе они обязаны пять раз съездить в Мураново за

дровами или досками, смотря что в эту пору будет выгоднее. Он удостоверил меня, что крестьяне исполнят эту повинность безропотно.

Каждый год у меня такой же будет обоз и на тех же условиях из Тамбовской губ. Им я заменю 8 или 10 в<нрзб.>; а у себя в деревне буду копить хлеб.

Материал, перевезенный в Москву, до половины продан, и по двойной цене! Из Англии я получил 100 пил, каждая обошлась по 12 р. 50 к. Если машина чуть-чуть искусно сделана, нам некуда девать и 50-ти. 50 можно будет продать по 25. Пилы эти обыкновенные продольные, служащие и для ручной пилки, только вдвое лучше тульских, которые продаются за цену, поставленную мною выше.

Теперь мы толкуем о важном деле, о том, чтобы заменить лошадей волами. Вместо 20 лошадей нужно только 10 волов. Для машины они лучше, потому что идут ровнее, содержание дешевле вчетверо. Цена с лошадьми одна. Я колеблюсь, потому что, по крайней мере в Тамбовской губернии, на них часто бывает падеж; но тамбовский климат особенно злокачествен. Собираю сведения, и если они будут благоприятны, то это совершенно обезопасит нашу операцию.

За одно нынешнее лето я вывезу на этих волах из Глебовского [1] все сено, нужное на их продовольствие в течение пяти лет. Ты знаешь, что волы летом не требуют никакого содержания и довольствуются подножным кормом.

Очень рад, что кончил письмо и дал тебе отчет, который давно хотел тебе дать во всех моих соображениях и действиях. Желаю, чтобы ты был доволен. Ты видишь по крайней мере, что я усердно занялся хозяйством.

Что ваше путешествие в чужие краи? Напишите пообстоятельнее. По первому летнему пути нам бы хотелось перебраться в Петербург. Мы тем бы вас избавили от поездки в Москву и взяли бы у вас детей из рук в руки. Ты знаешь, что мы давно желаем основаться в П-бурге. От этого я не выпущу из виду моей операции и один раз зимой, один раз летом непременно буду ездить в Мураново, что для меня теперь даже будет и приятно. Дилижансы так облегчают сообщение с Москвою. Обнимаю вас обоих и малюток.

Е. Баратынский

Еще одна подробность: мурановские крестьяне мне пособляют только подвозом бревен к машине, работа, впрочем, самая дорогая, потому что требует вместе и человека и лошадь; но деревья валятся и пилятся в дрова наймом. Десятина до сих пор обходилась около 100 + за свод; далее будет, бог даст, и дороже. На свод 25 десятин каждый год нужно около 3000 оборотного капитала. Надобно это тебе знать и к этому приготовиться. Покуда я дам свои деньги. Вероятно, наступающей осенью и позже зимою я их выручу при продаже досок или дров (летом этому всему должно только сохнуть), но матерьял может и застояться; нам должно общими силами выдержать год неблагоприятный, нельзя без этого в торговых делах. Скуратовские квитанции посланы особо страховым письмом.

88

<8 марта 1842>

Вчера, 7-го марта, в день моих имянин, я распилил первое бревно на моей пильной мельнице. Доски отличные своей чистотой и правильностию. Пилы ломаться почти не могут, так удовлетворительны предосторожности новейшего изобретения. Машина идет вместо 8-ми лошадей на 4-х.

Сведено 20 десятин лесу. Десятина в сложности, за всеми издержками, даст более 1000 +, кроме сучьев и оставшегося на корню молодого леса, из коего более чем половина, года через два, будет хорошим дровяным, так что по окончании операции с каждой уже сведенной десятины можно будет выручить еще рублей до 300.

На днях пошлю вам 3000 + из скуратовских доходов. Остальное надобно будет получать по частям в течение всего года, ибо яровой свой хлеб мы почти весь продаем своим крестьянам, а деньги за него удерживаем каждые три месяца из суммы, выдаваемой казной за почтовую гоньбу.

Обнимаю вас обоих и малюток.

Е. Баратынский

Адрес: Его высокородию Николаю Васильевичу Путята в С. П-бург. На углу Почтамской улицы против Исакия, дом Кютнера.

89

<Март — апрель 1842. Артемово>

Посылаю тебе, любезный друг, форму доверенности на перезалог Скуратова. Нужна тоже другая на управление Мурановом и на свод и продажу леса. Последнее следующего содержания: Правительствующим Сенатом разрешена продажа имеющейся при оном имении рощи, почему и доверяю вам продать оную на сруб всю, или частями, или, если вы найдете полезнее, свести оную хозяйственно и продавать в пользу опекаемого заготовленные дрова, бревна, тес и доски. В обоих случаях можете заключать все условия, контракты, которые заблагорассудите, и везде, где потребуется, за меня рукоприкладствовать, равно и передать права сей доверенности частию или вполне кому найдете нужным, в чем я вам верю и проч. Прощайте. Спешу печатать. Обе доверенности можно написать на том же листе.

Дорога у нас прескверная. Если Соничка решится ехать [1], то в Братовщине [2] она найдет тарандас, в котором немножко беспокойней, но безопаснее может до нас доехать. Дорога до того времени может поправиться; но на всякий случай, мы берем эту предосторожность.

90

<19 апреля 1842. Артемово>

Христос воскресе! Желаю вам веселого праздника, который мы, со своей стороны, начали удовлетворительно. В 3 часа утром были у обедни в соседней деревне [1], разговелись, выспались. Пишу вам в самый день Светлого воскресенья.

После минуты нерешимости, мы положили остаться на месте, имея в случае (который, право, мудрено предвидеть) всегда убежище в Москве, а еще ближе в Троице, где между прочим находится и наш стан, следственно наше местное правление, которому, без сомнения, даны нужные пособия в теперешних обстоятельствах. Редакция бесподобна [2]. Нельзя было приступить к делу умнее, осторожнее! Благословен грядый во имя Господне! У меня солнце в сердце, когда я думаю о бу-

дущем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела и скоро и спокойно. Прощайте, обнимаю вас и малюток ваших от всей души.

Е. Баратынский

91

<Начало мая 1842>

Не успеваю тебе доставить, любезный друг, наш общий годовой счет, потому что еще не все деньги в получении, следует еще получить из Скуратова, также из Каймар. Тысячи три, кажется, еще придется на вашу долю. Я распоряжусь так, чтоб будущие доходы из деревень посылались вам прямо на ваш заграничный адрес. Вы у меня останетесь в долгу за свод леса. Я себе заплачу из продажи. До сих пор употреблено 4.000. За исключением издержек по общей верной плате десятина даст больше 1000. Обнимаю вас обоих от всей души. Малютки ваши здоровы.

Е. Баратынский

Не забудь до отъезда за границу прислать мне квитанцию заемного банка по имению Петра Львовича.

92

<Конец июля (?) 1842. Москва>

Вот тебе, любезный друг, краткой счет приходов и расходов нынешнего года: получено из Каймар и Скуратова 33.898. Общие расходы:

Процентов за Каймары	5600
За Мураново	1120
За Атамыш[1]	400
Неелову[2] с $\frac{10}{m}$	1000
За совершение закладной	150
Процентов за Скуратово впредь до перезалога	1000
Саблеру	1200
На платье П<етру> Л<ьвовичу>	200
Человеку его	240
Кичееву	333
В О<пекунский совет> и Г<ражданскую> П<алату>	300
Гербовых издержек по мурановскому лесу .	225
	11 768

Остается 22.131. Половина:	11 065
Вами получено	7400
Следует получить	3665

Посылаются с нынешней же почтою Аполлону Григорьевичу [3] для пересылки к вам.

Проценты за Атамышь я поставил наобум, не имея перед собой документа: их немножко меньше; зато не внесены некоторые мелкие издержки, которые предоставляю Настиньке. Одно, вероятно, вполне уравновесит другое.

Пишу вам из Москвы; взял с собою все бумаги, нужные для расчета, кроме квитанции, надеясь на свою память, и ошибся.

Петровские оброки [4] еще не получены. Как пришлются, тотчас отправлю к вам следуемые вам деньги. Дети ваши, слава богу, здоровы. Катинька приметно хорошеет и днями просто прехорошенькая. Олиньку не хвалю, потому что я с нею в ссоре. Ужасная кокетка: тянется ко мне на руки, а только я подойду, отвернется с презрением.

Со сведенными 22 десятинами мур<ановского> леса я сижу у моря и жду погоды. Настоящие купцы являются по окончании Макарьевской ярмарки, т. е. к 15-му августа. Досок и тесу продал рублей на 500 соседу, по хорошим ценам.

Торф начинает несколько заменять дрова, отчего они несколько дешевеют. Доски и тес, напротив, возвышаются.

Мурановский дом под крышей и снутри ощекотурен глиною, способ, вывезенный мною из Тамбовской губернии, где он в общем употреблении. Под краской нет никакой разницы с настоящей щекотуркой, и прочность совершенно та же. Теперь кладут печи, стелют полы и проч. Дело прескучное. Из всех хозяйственных дел нет сложнее и заботливее стройки.

Я был бы очень доволен моей деревенской жизнию, если б не частые поездки в Москву. Дома дни текут незаметно. Старшие дети начинают уже жить заодно с нами. Учителя добрые ребята и более просвещенные, чем большая часть русских помещиков. Каждое утро я езжу один в Мураново, и вечером после чаю мы от-

правляемся туда пешком с детьми и возвращаемся прямо к ужину. Много мешают нам особенно частые дожди. Зато все обещает, как здесь, так и в других имениях, обильный урожай. Прощайте, обнимаю обоих вас от всей души.

Е. Б.

93

<Лето 1842 (?) Москва>

Посылаю тебе, любезный друг, 10.000 каймарского дохода: из них 5.600 для уплаты процентов в заемный банк, остальные pour vos mêmes plaisirs *. Тысячи с две еще нам придется, в круглом счете. Из Скуратова будет около 16 т. с уплатою процентов, с третью частью прошлогодней просрочки придется нам по 6500. Доход порядочный. Пишу из Москвы. Хлопот у меня много и потому не вхожу в подробности. Будьте все здоровы.

94

<Конец августа 1842. Москва>

Вам бы следовало получить сегодня письмо от Настиньки. Я должен был его сам отдать в Москве, где теперь нахожусь по некоторым хлопотам, но новонаемный мой камердинер забыл взять с собою мою шкатулку, в которой уложены были все мои бумаги, и я пишу вам несколько строк, чтоб не оставить вас без вестей о Муранове. Дети ваши, слава богу, здоровы. Олиньку обметала золотуха; но, кажется, это неважно и может даже послужить ей в пользу. Собираемся отымать Катиньку от груди. Кстати, у ней на днях вышло два зуба, и другие пойдут не так скоро. Этим промежутком хорошо воспользоваться. Лесной матерьял начинает сходить с рук. Дом отстраивается. Недели через три мы перейдем в верхний этаж. Я получил очень милое письмо от Карамзиной в ответ на мои стихи [1]. Нежно обнимаю вас и Настиньку.

Е. Баратынский

---

* Для ваших удовольствий *(фр.)*.

95

<Декабрь 1842>

Благодарю тебя, любезный друг, за твои подробные и занимательные письма. Рад, что вы так полно наслаждаетесь Италией и что воображение, предупрежденное столькими описаниями, нашло на ея древней пошве впечатления новые и свежие. Все можно передать довольно точно, кроме местной физиономии и вообще природы, и слава богу. Не все уловляет печать, и что-нибудь еще возможно чувствовать по-своему. Теперь вести из отечества: дети ваши здоровы. Олинька всякой день милее. Катинька эти последние дни чрезвычайно похорошела. Начинает стоять на ногах, но еще не ходит. Все мы также живем подобру-поздорову. Наше уединение очень полезно детским урокам. Саша сделала большие успехи в рисованьи и обещает настоящий талант. Музыка тоже идет успешно. Оба старшие замечательно усовершенствовались. Несмотря на довольно невыгодную репутацию, мы взяли m-me Fild [1]. Она будет жить во флигеле и давать только что уроки. Что-то бог даст, а делать нечего: в Москве нет ни одного порядочного учителя, который бы согласился ехать в деревню за доступную цену. Доходы нынешний год будут средние, хотя урожай хорош. Цены очень низки. Ваши вознесенские [2] мужики плохо платят оброк. Прошлого году петровского оброку получил я только 4300, которые и внес по залогу ваших имений в опекунский совет. Правда, что прошлый год был тяжелее для крестьян, хотя от высоких цен мы получили хороший доход. Из январского оброку я получил 3300 +, внесенные атамышенскими вашими крестьянами. Вознесенские еще не внесли. Дьяков обещает собрать к маслянице. Ваши 3300 положены мною в ломбард, равно как и часть денег, которая, вероятно, вам достанется из каймарских доходов (около 5/т).

Прощайте, мои милые и добрые друзья. Поздравляю вас с новым годом, желаю всякого счастия, в особенности продолжения отпуска, чтоб вы могли вместе долечиться в Мариенбаде. Крепко вас обнимаю.

Е. Баратынский

96

<Начало января 1843. Мураново>

Поздравляю вас, любезные друзья мои, с наступившим новым годом. Долго не писал за хлопотами всякого рода, сверх того хотелось дождаться положительных результатов от свода рощи и постройки дома. Слава богу, дом хорош, очень тепел. Были и большие морозы и сильные ветры: мы не чувствовали ни тех ни других, и что в особенности редко в деревенских домах — никогда не знали, с которой стороны непогода. Продажа леса идет успешно: более $^{2}/_{3}$ заготовленного материала уже сбыто по хорошим ценам. Десятина за издержками даст, как я писал вам и прежде, до 1000 +. На следующий год есть надежда на повышение цен, а сбыт несомнителен. Наша роща остается единственной в околодке. Купцы, имевшие в запасе доски и дрова, сбыли все, что имели, и лесной торг остается совершенно в наших руках. Как нарочно, в соседстве у нас строится несколько господских домов и огромная фабрика. Машина оказалась неудобной и убыточной. Приходится ее совсем оставить. Она приносит потери тысяч на 5-ть, но она в общем счете может вознаградиться распространением кирпичного завода, на который будут употреблены и призванные мною люди и купленные волы. Строящаяся фабрика в 8-ми верстах от нас представляет верный сбыт, а требование огромно: до миллиона в год. У нас пропасть гнилова лесу, не имеющего никакой цены в продаже: он пойдет на обжиг кирпича. До сих пор сведено 22 десятины. Нынешнюю зиму сведется еще 28. Выручкою должен вознаградиться убыток, понесенный машиной, постройка дома, кирпичных сараев, покупка волов, словом, все издержки, и 20 тысяч должно быть внесено в уплату Пьерова долга. Дело, как всякое новое дело, не обошлось прошлого года без ошибок. Теперь свод леса будет стоить дешевле, от лучшей кладки и пилки дрова и доски в лучшей цене. Не забудьте тоже, что молодой лес остается на корню. Думаю, можно быть довольными общим итогом. Дом отделан вполне: в два полных этажа, стены общекатурены, полы выкрашены, крыт железом. В числе издержек полагается еще

8 тысяч постоянного оборотного капитала, нужного на ежегодный свод 25 десятин леса. Нас посетила в Муранове Анна Васильевна [1]; вероятно, она вам об нас коечто писала. Наш быт против артемовского изменился тем, что мы пореже ездим в Москву. Прошлого года столько было дел, что из 52 недель мы, верно, 25 провели в городе. Теперь, слава богу, мы постояннее бываем дома. Малютки ваши здоровы. Олинька обещает быть красавицей, но и Катя днями очень хороша. Она в поре невыгодной для наружности детей. Когда вы думаете возвратиться на родину? И есть ли у вас какие-либо планы для будущего? Каково житье за границей в отношении денежном?

Обнимаю вас обоих и Настиньку [2].

Дом стоил дороже, нежели я предполагал, потому что весь матерьял куплен. Мне не хотелось употреблять полу-сухова леса в постройке, которая окупается единственно своею прочностью. К тому же, что́ бы я употребил из собственного лесу на постройку дома, то было бы исключено из продажи, а мы, благодаря возвысившимся ценам, продаем свой матерьял дороже, чем купили посторонний: я покупал доски по 1.20 к., а продаю по 1.40, по 1.50 к.

97

<Осень 1843. Лейпциг>

Настинька писала вам в Дрездене, и я приписываю в Лейпциге, куда мы по вашему совету воротились. Переночевали, а теперь едем в Франкфурт, на немецких длинных, т. е. с лонкучером. Будем останавливаться на ночь и в пятый день должны быть на месте. Я очень наслаждаюсь путешествием и быстрой сменою впечатлений. Железные дороги чудная вещь. Это апофеоза рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии. Обнимаю тебя, Соничку и детей ваших и наших. Когда буду на месте, может, передам вам несколько впечатлений и замечаний, доставленных мне путешествием. Прощайте, до Франкфурта.

98

<Ноябрь 1843 г. Париж>

Друзья, сестрицы, я в Париже![1] и благодаря Соболевскому, которому я вскоре буду писать особо, благодаря его за полезную его дружбу, вижу в нем не одни здания и бульвары, хотя первый матерьяльный взгляд на Париж вознаграждает с избытком труды дальнаго путешествия. Я уже заглянул в faubourg St.-Germain[2] и видел некоторых литераторов, но, по-моему, всего замечательнее во Франции сам народ, приветливый, умный, веселый и полный покорности закону, которого он понимает всю важность, всю общественную пользу. Я удивлялся в Берлине городскому порядку, точности и бесспорности отношений. Как же я изумился найти то же самое, но в высшей степени, в многолюдном Париже, в его тесных улицах, в его бесчисленных сделках. В Германии чувствителен еще некоторый ропот на законы общественного устройства, которым повинуются: здесь ими гордятся люди, принадлежащие последней черни. Несколько ясных мыслей общежития сделались достоянием каждого и составляют такую массу здравого смысла, что мудрено подумать, чтобы можно было совратить народ с пути истинного его благосостояния. Между тем партии волнуются. Я много слушаю и много читаю. Люди, вышедшие из рядов и наполняющие газеты и салоны, не тверды в своих мнениях. Здесь переметчики менее подлы, чем кажется с первого взгляда, и многие из них принимают мнение, противоположное прежде выраженному, с совершенно искреннею ветреностью. Теперь всех занимает вопрос воспитания: кто должен им заведывать, духовенство или университет? Вопрос отменно важный, слитый с видами легитимизма... Ламартин[3] напечатал вздорную диатрибу, которую я принужден хвалить в обществе, с которым начал знакомство. Ответы противоположной партии, почтительные к таланту поэта, очень забавны. Профессоры начали свои курсы, и о чем бы ни говорили, об анатомии или химии, умеют коснуться всех занимающего вопроса. Мы живем в самом центре города. Вот наш адрес: Rue Duphot, près le boulevard de la Madeleine, № 8. Сегодня я буду у m-me Aguesseau[4], завтра у Nodier[5], послезавтра у Thierry[6]. Всеми этими знакомст-

вами я обязан Сиркурам[7]. Прощайте, обнимаю вас и детей. Кланяюсь очень Соболевскому, Плетневу. Я вижу почти всякий день А. И. Тургенева[8], который теперь несколько нездоров. Он пеняет Вяземскому за то, что он к нему не пишет. Напомните ему обо мне. Вижусь с Балабиным[9], человеком очень умным, очень сведущим, с которым всякая встреча меня более и более сближает.

99

<Конец ноября — начало декабря 1843 г. Париж>

Хорошо, что я проведу в Париже одну только зиму, а то из человека с некоторым смыслом я бы сделался совершенным зевакой, а что хуже — светским человеком. Не я один, все парижане с одиннадцати часов утра до 12 вечера на ногах и проводят часы в визитах. Для настоящих парижан, имеющих свои виды, то деловые, то политические, посещающих каждое лицо с известною целию, эта жизнь не совсем убийственна; но для заезжего, несмотря на любопытство, она утомительна до крайности. Несмотря на приветливость лиц, на новость явлений, чувствуешь недостаток прямых отношений, и, если бы я был в Париже без семейства, не знаю, вынес ли бы я подобное существование. Первые мои знакомства вовлекли меня в faubourg St.-Germain, к m-me de T..., к m-me d'Aguesseau, к Т. *<нрзб. две зачеркн. строки>*. Тут собираются академики и католические прозели<ти>сты обоих полов. Все это работает вертограду господню в смысле аббатов. По довольно уединенным улицам славного предместья бегают с озабоченным видом латынские попы в таком множестве, что если б по русскому обычаю от всех отплевываться, можно получить чахотку. Circourt познакомил меня с Виньи, двумя Тьери, Нодье, St.-Beuve[1], Соболевский с Mérimée[2], и m-me Ancelot[3], случай — с прежним издателем одного из крайних республиканских журналов, через которого я надеюсь добраться до Ж. Занд[4]. Познакомился или возобновил знакомство с некоторыми земляками. Русские ищут русских в Париже и вообще в чужих краях. Самые ветреные из них догадываются, что у нас есть на сердце, и готовы на сантиментальность. Общества с точки зрения

политической представляют самый печальный факт. Легитимисты[5], умные без надежды, безрассудные по неисправимой привычке, преследуют идею своей партии и отслужили ей в Лондоне вместе меткую (?) и трогательную панихиду. Республиканцы теряются в теориях без единого практического понятия. Партия сохранительная[6] почти ненавидит ее настоящего представителя, избранного ею короля[7]. Всюду элементы раздоров. Движение попов, воскресших для надежд бедственных, ибо под личиною мистицизма они преследуют мысль возврата прежнего своего владычества. Вот Франция! А в парижских салонах конституция французской учтивости мирно собирает умных, сильных, страстных представителей всех этих разнородных стремлений. Обнимаю вас обоих и всех ваших и наших ребятишек. В следующем письме сообщу вам подробности о всех названных мною лицах.

100

<Конец декабря 1843 г. Париж>

Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом, обнимаю вас, ваших и наших ребятишек; желаю вам его лучше парижского, который не что иное, как привидение прошлого, в морщинах и праздничном платье. Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их может быть, 12-ю столетьями. Каждую из этих фраз я могу доказать ученым образом; но теперь не время, оставим это до дня свидания, ибо из русских писателей нет ни одного, который менее бы любил писать того, который вас так нежно любит. Поклон мой Соболевскому и Плетневу, которым собираюсь писать, не знаю о чем от многосложности предметов; но постараюсь что-нибудь выразить со всею правдой, которая от меня зависит.

Е. Баратынский

101

<Начало 1844 г. Париж>

Последнее письмо Сонички принесло нам весть о вашей общей великой потере[1]. Ты не можешь сомневаться в полноте участия, которое мы в ней принимаем. Память твоего почтенного отца принадлежит не одной твоей сыновней скорби, но всем, которые его знали и ценили; она принадлежит истории в гражданской истории 12-го года. Ты проводишь тяжелую зиму: столько сердечных потрясений и столько забот положительных. Моя здешняя жизнь тоже не восхитительна. Буду доволен Парижем, когда его оставлю. Для чужеземца, не принимающего ни в чем страстного участия, холодного наблюдателя, светские обязанности, дающие пищу одному любопытству, часто обманутому в своих ожиданиях, отменно тяжелы. Бываю везде, где требуется, как ученик в своих классах. Масса сведений и впечатлений, конечно, вознаградит меня за труд, но все-таки это труд, а редко-редко наслаждение. В одном из писем Вяземского к Тургеневу помещено несколько строк, для меня особенно благоволительных. Скажи ему при случае, что я был ими очень тронут и что они сохраняются в том чувстве, которое так хорошо назвали сердечною памятью. Бедный Тургенев[2] болен почти с моего приезда в Париж: это сиатика в руке и рюматизмы в боках. По словам его, этими недугами он обязан тому, что где-то в Германии, отыскивая Жуковского, упал в ручей, продрог и с тех пор не может оправиться. Он не оставляет кресел, а для человека такого деятельного, как он, это хуже самой болезни. Мы разъезжаем по вечерам f<au> b<ourg> St.-Germain, верные покуда что православной греко-российской церкви. Католический прозелитизм здесь несносен. Меня заставили прочесть кучу скучных книг, и теперь у меня лежит на столе: Institut des Jésuites отца Равиньяна[3]. Как ты думаешь, что это такое? Изложение статутов ордена, писанное с простотою младенца или невинностью старика, потерявшего память, человеком лет сорока, замечательным своею ученостью и дарованиями. Вот мое определение этого произведения: livre niais, écrit pour les niais, par un homme qui n'est pas niais *. Вижу

* Глупая книга, написанная для глупых человеком, который не глуп (*фр.*).

здесь почти всех авторов. Завтра буду у Ламартина. Тьери обещал представить меня Гизоту[4]. С тех пор как он министр, доступ к нему довольно труден. У меня начаты письма к Плетневу и Соболевскому и не окончены за парижской суматохой. Кланяюсь им обоим. Вчера с Настинькой были мы на бале de l'ancienne liste civile ** и видели в полном блеске всю французскую аристократию. Будьте здоровы, обнимаю вас и детей.

102

<Начало весны 1844 г. Париж>

Благодарю тебя за желание моего портрета[1]. Жаль, что получил твое письмо перед самым нашим отъездом в Италию, однакож постараюсь удовлетворить твоей дружеской прихоти в Париже, где, по твоему совету, можно литографировать несколько экземпляров. Если не успею (ибо время нудит), то оставлю это до Рима. Мы едем из Парижа с впечатлениями самыми приятными. Наши здешние знакомые нам показали столько благоволительности, столько дружбы, что залечили старые раны[2]. Здесь нам дали рекомендательные письма в Неаполь, Рим и Флоренцию. Там, как здесь, мы можем, если захотим, познакомиться с обществом; но, кажется, мы на это не найдем досуга. Есть лица в Париже, которые мы покидаем даже с грустию. Путешественник должен быть путешественником: ему не следует нигде заживаться, если хочет в самом деле пользоваться своим мизантропическим счастием. Мы едем на Марсель; оттуда, морем, прямо в Неаполь, а потом сухим путем в Рим и проч. и воротимся в Россию через Вену. Я с вами увижусь, богатый вспоминаниями всякого рода. Я уставал от парижской жизни, но теперь, прощаясь с нею, доволен прошедшим. Перестал к вам писать собственно о Париже, потому что всякий день мнение мое изменялось. К тому ж надобно родиться в Париже, чтоб посреди его требований и рассеяний находить досуг для мысли и для письменного выражения. Русский видит и не верит, что эту

** Старинной знати *(фр.)*.

самую жизнь ведут здешние ученые, беспрестанно усовершенствуясь в науке и каждый год печатая какую-нибудь книгу. Обнимаю вас, мои милые, равно ваших и наших детей. Хотя хорошо за границей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах. Балабин вам кланяется. Умный, добрый, просвещенный и любезный.

103

<Вторая половина апреля или средина мая 1844 г. Неаполь>

Пятнадцать дней, как мы в Неаполе[1], а кажется, живем там давно от полноты однообразных и вечно новых впечатлений. В три дня, как на крыльях, перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии,— Италии, которую за все ее заслуги должно бы на карте означить особой частью света, ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа. Наше трехдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днем и ночью на волны. Не было бури, но как это называли наши французские матросы: très gros temps*, следственно живость без опасности. В нашем отделении было нестраждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначущих лиц, неаполитанский maestro** музыки, Николенька[2] и я. Мы коротали время с непринужденностью военного товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов, которые, немного переправив, вам пришлю, а вас попрошу передать Плетневу для его журнала.

Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом. Мы поселились в Vil-

---

* Бурная погода (*фр.*).
** Учитель (*итал.*).

la Reale, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями; но где они есть, там они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья. Вот проснулся город: на осле, в свежей зелени итальянского сена, испещренного малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец полуголый, но в красной шапке; это не всадник, а блаженный. Лицо его весело и гордо. Он верует в свое солнце, которое никогда его не оставит без призрения.

Каждый день, два раза, утром и поздно вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Chiaja, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещает для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое без резкости лампы выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь под этим дивным небом. Здесь, только здесь, может образоваться и рисовальщик и живописец.

Мы осмотрели некоторые из здешних окрестностей. Видели, что можно видеть, в Геркулануме; были в Пуцоле, видели храм Серапийский; но что здесь упоительно, это то внутреннее существование, которое дарует небо и воздух. Если небо, под которым Филемон и Бавкида[3] превратились в деревья, не уступает здешнему, Юпитер был щедро благ, а они присноблаженны.

Мы остаемся здесь на два или три месяца. В продолжение нашего морского путешествия у Настиньки воротились ее нервические рюматизмы с постоянною болью в желудке. Один из лучших здешних докторов, которого нам рекомендовала княгиня Волконская, настоятельно ей предписал морские ванны и здешнюю железную воду. Все это у нас через улицу и нипочем. С Хлюстиным[4], которого внезапная болезнь удержала в Кенигсберге, я полагал получить от тебя хозяйственное письмо. Повтори свои подробности, дабы я мог распорядиться моими делами. В моем кредитиве нет Неаполя. Пришли мне, сделай одолжение, еще кредитив тысяч в пять на Неаполь и другие города, которые нам придется проезжать, пред-

полагая, что мы в Россию воротимся через Вену. Нежно вас обнимаю, равно как всех ваших и наших ребятишек.

Е. Баратынский

104

<Июнь 1844. Неаполь>

...С нетерпением ждем от вас письма еще более успокоительного насчет Насти и вас самих. Несмотря на то, что горькое время для вас миновалось, мы не могли прочесть последнего вашего письма без содрогания, думая о том, что вы претерпели. Отдыхаем вместе с вами, полагаясь на милость Божию, уже так явную. Мы живем в Неаполе как в деревне: дни наши монотонны, но небо, но воздух, но море, но юг вообще не дают времени ни скучать, ни задумываться. Каждый день наслаждаюсь одним и тем же и всегда с новым упоением. Жары не несносны, в России иногда бывает удушнее. Веселый нрав неаполитанцев, их необыкновенная живость, беспрестанные катанья, процессии, приходские праздники с фееверками, все это так ярмарочно, так безусловно весело, что нельзя не увлечься, не отдаться детски преглупому и пресчастливому рассеянию. Мне эта жизнь отменно по сердцу: гуляем, купаемся, потеем и ни о чем не думаем, по крайней мере не останавливаемся долго на одной мысли. Это не в здешнем климате. Обнимаю вас, милую Настю и остальных ваших и наших ребятишек. В другой раз буду писать подробнее, а теперь спешу, чтобы не упустить почты. Бог вас береги всех!

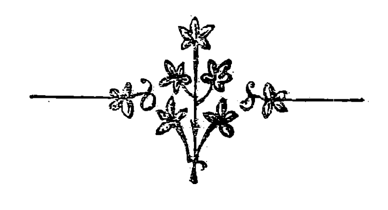
105

<2-я половина июня 1844 г. Неаполь>[1]

Мы получили разом несколько ваших писем, потому что догадались написать в Рим и Флоренцию, чтобы нам их переслали в Неаполь. Обстоятельства принуждают нас пробыть здесь гораздо долее, чем мы предполагали, и вместо конца августа насилу к концу ноября мы можем возвратиться в Россию. Прошу за меня похозяйни-

чать. Сроки платежей в Опекунский совет по моему тамбовскому имению в июне и в июле, сколько мне помнится, и две прошлогодние квитанции я оставил тебе, друг Путята. Надобно внести по ним половину. Квитанции по имению Насти находятся у Дмитрия: всем им срок в октябре; по ним надобно внести треть, что, по моему счету, он может сделать из доходов дома; но я не знаю, как идут наймы, почему нужно тебе взять на себя хлопоты распоряжения. Последнее и главное. Отъезжая за границу, я занял у одной московской барыни, которой даже имени не помню, но ее и ее собственный дом знает Бекер, 32 т. по 9 процентов, которые она взяла вперед. Мне необходимо уплатить этот частный долг, на что и надо употребить все наши доходы нынешнего года, за исключением того, что мы вам должны, и пяти тысяч, которые я просил тебя переслать нам в Неаполь. Недостающую сумму взять из лесной кассы: она пойдет в уплату долга вашего мне за мурановский дом и лесную операцию. Если, как вероятно, это все вместе еще не составит 32 т., то уплатить ей, что возможно, для этого надо употребить Бекера. Посылаю вам два стихотворения[2]. Отдайте их Плетневу для его журнала. На днях я вам адресую письма к нему, Соболевскому и Вяземскому. Пожалуйста, перешлите. Мы ведем в Неаполе самую сладкую жизнь. Мы уже видели все здешние чудесные окрестности: Пуцоли, Баию, Кастеламаре, Соренту, Амальфи, Салерну, Пестум, Геркуланум, Помпею. Теперь неделя наша проходит для детей в уроках, а каждое воскресенье мы делаем une partie de plaisir*, осматривая здешние церкви, дворцы и замки, или просто едем за город в какую-нибудь деревушку. Нежно обнимаю вас обоих, ваших и наших детей.

Е. Баратынский



* Увеселительная прогулка *(фр.)*.

Приложение

1. ПИСЬМО Е. А. БАРАТЫНСКОГО К В. А. ЖУКОВСКОМУ

<Конец 1823 г. Роченсальм>

Вы налагаете на меня странную обязанность, почтенный Василий Андреевич; сказал бы трудную, ежели бы знал вас менее. Требуя от меня повести беспутной моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной.

В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное, и это служит главным и общим моим оправданием: все содействовало к уничтожению хороших моих свойств и к развитию злоупотребительных. Любопытно сцепление происшествий и впечатлений, сделавших меня, право, из очень доброго мальчика почти совершенным негодяем.

12 лет вступил я в Пажеский корпус, живо помня последние слезы моей матери и последние ее наставления, твердо намеренный свято исполнять их, и, как говорится в детском училище, служить примером прилежания и доброго поведения.

Начальником моего отделения был тогда некто Кр<истафо>вич (он теперь уже покойник, чем на беду мою еще не был в то время), человек во всем ограниченный, кроме в страсти своей к вину. Он не полюбил меня с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со мною как с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное самолюбие

требует мщения, и я решился отмстить ему. Большими каллиграфическими буквами (у нас был порядочный учитель каллиграфии) написал я на лоскутке бумаги слово *пьяница* и прилепил его к широкой спине моего неприятеля. К несчастию, некоторые из моих товарищей видели мою шалость и, как по-нашему говорится, на меня доказали. Я просидел три дня под арестом, сердясь на самого себя и проклиная Кр<истафо>вича.

Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я был уже негодяем в мнении моих начальников. Я получал от них беспрестанные и часто несправедливые оскорбления; вместо того чтобы дать мне все способы снова приобрести их доброе расположение, они непреклонною своею суровостию отняли у меня надежду и желание когда-нибудь их умилостивить.

Между тем сердце мое влекло к некоторым из моих товарищей, бывших не на лучшем счету у начальства; но оно влекло меня к ним не потому, что они были шалунами, но потому, что я в них чувствовал (здесь нельзя сказать замечал) лучшие душевные качества, нежели в других. Вы знаете, что резвые мальчики не потому дерутся между собою, не потому дразнят своих учителей и гувернеров, что им хочется быть без обеда, но потому, что обладают большею живостию нрава, большим беспокойством воображения, вообще большею пылкостию чувств, нежели другие дети. Следовательно, я не был еще извергом, когда подружился с теми из моих сверстников, которые сходны были со мною свойствами; но начальники мои глядели на это иначе. Я не сделал еще ни одной особенной шалости, а через год по вступлении моем в корпус они почитали меня почти чудовищем.

Что скажу вам? Я теперь еще живо помню ту минуту, когда, расхаживая взад и вперед по нашей рекреационной зале, я сказал сам себе: буду же я шалуном в самом деле! Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрел новое существование.

Я пропущу второй год корпусной моей жизни: он не содержит в себе ничего замечательного; но должен говорить о третьем, заключающем в себе известную вам развязку. Мы имели обыкновение после каждого годового

экзамена несколько недель ничего не делать — право, которое мы приобрели не знаю каким образом. В это время те из нас, которые имели у себя деньги, брали из грязной лавки Ступина, находящейся подле самого корпуса, книги для чтения, и какие книги! Глориозо, Ринальдо Ринальдини, разбойники во всех возможных лесах и подземельях! И я, по несчастию, был из усерднейших читателей! О, если б покойная нянька Дон-Кишота была моею нянькою! С какою бы решительностью она бросила в печь весь этот разбойничий вздор, стоющий рыцарского вздора, от которого охладел несчастный ее хозяин! Книги, про которые я говорил, и в особенности Шиллеров Карл Моор, разгорячили мое воображение; разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно-беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имеющее целию сколько возможно мучить наших начальников.

Описание нашего общества может быть забавно и занимательно после главной мысли, взятой из Шиллера, и остальным, совершенно детским его подробностям. Нас было пятеро. Мы сбирались каждый вечер на чердак после ужина. По общему условию, ничего не ели за общим столом, а уносили оттуда все съестные припасы, которые возможно было унести в карманах, и потом свободно пировали в нашем убежище. Тут-то оплакивали мы вместе судьбу свою, тут выдумывали разного рода проказы, которые после решительно приводили в действие. Иногда наши учители находили свои шляпы прибитыми к окнам, на которые их клали, иногда офицеры наши приходили домой с обрезанными шарфами. Нашему инспектору мы однажды всыпали толченых шпанских мух в табакерку, от чего у него раздулся нос; всего пересказать невозможно. Выдумав шалость, мы по жеребью выбирали исполнителя, он должен был отвечать один, ежели попадется; но самые смелые я обыкновенно брал на себя, как начальник.

Спустя несколько времени, мы (на беду мою) приняли в наше общество еще одного товарища, а именно сына того камергера, который, я думаю, вам известен как по моему, так и по своему несчастию. Мы давно замечали, что у него водится что-то слишком много денег; нам казалось невероятным, чтоб родители его давали 14-летнему мальчику по 100 и по 200 р. каждую неделю. Мы

вошли к нему в доверенность и узнали, что он подобрал ключ к бюро своего отца, где большими кучами лежат казенные ассигнации, и что он всякую неделю берет оттуда по нескольку бумажек.

Овладев его тайною, разумеется, что мы стали пользоваться и его деньгами. Чердашные наши ужины стали гораздо повкуснее прежних: мы ели конфекты фунтами; но блаженная эта жизнь недолго продолжалась. Мать нашего товарища, жившая тогда в Москве, сделалась опасно больна и желала видеть своего сына. Он получил отпуск и в знак своего усердия оставил несчастный ключ мне и родственнику своему Х<анык>ову: «Возьмите его, он вам пригодится»,— сказал он нам с самым трогательным чувством, и в самом деле он нам слишком пригодился!

Отъезд нашего товарища привел нас в большое уныние. Прощайте, пироги и пирожные, должно ото всего отказаться. Но это было для нас слишком трудно: мы уже приучили себя к роскоши, надобно было приняться за выдумки; думали и выдумали!

Должно вам сказать, что за год перед тем я нечаянно познакомился с известным камергером, и этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, на которых я мог бы основать систему предопределения. Я был в больнице вместе с его сыном и, в скуке долгого выздоровления, устроил маленький кукольный театр. Навестив однажды моего товарища, он очень любовался моею игрушкою и прибавил, что давно обещал такую же маленькой своей дочери, но не мог еще найти хорошо сделанной. Я предложил ему свою от доброго сердца; он принял подарок, очень обласкал меня и просил когда-нибудь приехать к нему с его сыном; но я не воспользовался его приглашением.

Между тем Х<анык>ов, как родственник, часто бывал в его доме. Нам пришло на ум: что возможно одному негодяю, возможно и другому. Но Х<анык>ов объявил нам, что за разные прежние проказы его уже подозревают в доме и будут за ним присматривать, что ему непременно нужен товарищ, который по крайней мере занимал бы собою домашних и отвлекал от него внимание. Я не был, но имел право быть в несчастном доме. Я решился помогать Х<анык>ову. Подошли святки, нас распускали к родным. Обманув, каждый по-своему, де-

журных офицеров, все пятеро вышли из корпуса и собрались у Молинари. Мне и Х<анык>ову положено было идти в гости к известной особе, исполнить, если можно, наше намерение и прийти с ответом к нашим товарищам, обязанным нас дожидаться в лавке.

Мы выпили по рюмке ликеру для смелости и пошли очень весело негоднейшею в свете дорогою.

Нужно ли рассказывать остальное? Мы слишком удачно исполнили наше намерение; но по стечению обстоятельств, в которых я и сам не могу дать ясного отчета, похищение наше не осталось тайным, и нас обоих выключили из корпуса с тем, чтоб не определять ни в какую службу, разве пожелаем вступить в военную рядовыми.

Не смею себя оправдывать; но человек добродушный и, конечно, слишком снисходительный, желая уменьшить мой проступок в ваших глазах, сказал бы: вспомните, что в то время не было ему 15 лет; вспомните, что в корпусах то только называют кражею, что похищается у своих, а остальное почитают законным приобретением (des bonnes prises) и что между всеми своими товарищами едва ли нашел бы он двух или трех порицателей, ежели бы счастливо исполнил свою шалость; вспомните, сколько обстоятельств исподволь познакомили с нею его воображение. Сверх того, не более ли своевольства в его поступке? Истинно порочный, следовательно, уже несколько опытный и осторожный, он бы легко расчел, что подвергает себя большой опасности для выгоды довольно маловажной; он же не оставил у себя ни копейки из похищенных денег, а все их отдал своим товарищам. Что его побудило к такому негодному делу? Корпусное молодечество и воображение, испорченное дурным чтением. Из сего следует то единственно, что он способнее других принимать всякого роду впечатления и что при другом воспитании, при других, более просвещенных и внимательных наставниках, самая сия способность, послужившая к его погибели, помогла бы ему превзойти многих из своих товарищей во всем полезном и благородном.

По выключке из корпуса я около года мотался по разным петербургским пансионам. Содержатели их, узнавая, что я тот самый, о котором тогда все говорили, не соглашались держать меня. Я сто раз готов был лишить

себя жизни. Наконец поехал в деревню к моей матери. Никогда не забуду первого с нею свидания! Она отпустила меня свежего и румяного; я возвращаюсь сухой, бледный, с впалыми глазами, как сын Евангелия к отцу своему. *Но еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть и тек нападе на выю его и облобыза его.* Я ожидал укоров, но нашел одни слезы, бездну нежности, которая меня тем более трогала, чем я менее был ее достоин. В продолжение четырех лет никто не говорил с моим сердцем: оно сильно встрепетало при живом к нему воззвании; свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение; посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал ее условия и ужаснулся как моего поступка, так и его последствий. Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни.

18 лет вступил я рядовым в гвардейский Егерский полк, по собственному желанию; случайно познакомился с некоторыми из наших молодых стихотворцев, и они сообщили мне любовь свою к поэзии. Не знаю, удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны. Через год, по представлению великого князя Николая Павловича, был я произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский полк, где нахожусь уже четыре года.

Вы знаете, как неуспешны были все представления, делаемые обо мне моим начальством. Из году в год меня представляли, из году в год напрасная надежда на скорое прощение меня поддерживала; но теперь, признаюсь вам, я начинаю приходить в отчаяние. Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет; меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии, по крайней мере душевном, перемены судьбы моей, ожидать, может быть, еще новые годы! Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своевольство. Мне остается одно раскаяние, что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи. Должно сносить терпеливо заслуженное не-

счастие — не спорю; но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум.

Вот, почтенный Василий Андреевич, моя повесть. Благодарю вас за участие, которое вы во мне принимаете; оно для меня более нежели драгоценно. Ваше доброе сердце мне порукою, что мои признания не ослабят вашего расположения к тому, который много сделал негодного по случаю, но всегда любил хорошее по склонности.

Всей душой вам преданный

Баратынский

2. СЛУЖЕБНЫЙ АТТЕСТАТ Е. А. БАРАТЫНСКОГО

«Предъявитель сего служивший в Канцелярии моей Губернский Секретарь Евгений Баратынский, в службу вступил, как по формулярным спискам значит, из дворян, по Высочайшему повелению из Пажей за проступки рядовым Лейб-Гвардии в Егерский полк 1819 февраля 8; по Высочайшему повелению произведен в Унтер-Офицеры с переводом в Нейшлотский Пехотный Полк 1820 генваря 4, в прапорщики 1825 апреля 21; по Высочайшему Его Императорского Величества приказу уволен от службы за болезнию 1826 генваря в 31 день; определен в Канцелярию Главного Директора Межевой Канцелярии 1828 генваря 24, Указом Правительствующего Сената переименован в Коллежские Регистраторы 1828 февраля 20; а после сего Указом Правительствующего Сената произведен Губернским Секретарем со старшинством с 14 апреля прошлого 1830 года; во время служения своего вел себя похвально, должность исправлял прилежно, в штрафах и под судом не бывал; в отпусках был с 11 декабря 1820 по 1 марта 1821, с 21 сентября 1822 по 1 февраля 1823 и на срок месяца, с 1825 же с 30 сентября на 4 месяца, и за болезнию к полку не прибыл; в отставке был 1826 генваря с 31-го 1828 генваря по 24 число; к продолжению службы и к повышению чина всегда аттестовался способным и достойным, и к представлению его за службу в Канцелярии Главно-

го Директора Межевой Канцелярии к знаку Отличия беспорочной службы в свое время препятствий совершенно никаких не имеется; после же по прошению его для определения к другим делам уволен, в засвидетельствование чего и дан сему Баратынскому сей Аттестат за подписанием моим и с приложением Герба моею печатию.

Москва. Июля 26 дня 1831 года
Богдан Гермес».

3. КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Е. А. БАРАТЫНСКОГО

1798

Начало года.	— Петербург. Генерал-майор Абрам Андреевич Баратынский женится на Александре Федоровне Черепановой, любимой фрейлине императрицы.
Конец года.	— Петербург. Генерал-лейтенант А. А. Баратынский уходит в отставку и вместе с женой поселяется в имении Мара (Кирсановский уезд Тамбовской губернии), пожалованном ему императором Павлом I в 1793 году.

1800

7 марта (20 марта)	— Мара. У Абрама Андреевича и Александры Федоровны Баратынских рождается сын, названный Евгением (крещен 8 марта; даты установлены В. Шпильчиным по записи в метрической книге Покровской церкви села Вяжля — см. «Вопросы литературы», 1976, № 9, с. 318).

1805

— Мара. Родители выписывают Евгению воспитателя и учителя — итальянца Джьячинто Боргезе (умер в Маре в 20-х гг. XIX в.).

1808

Семья Баратынских переезжает в Москву.

1810

24 марта. — Москва. Смерть Абрама Андреевича Баратынского.

7 сентября. — В результате хлопот А. Ф. Баратынской «Евгений Баратынский, сын генерал-лейтенанта, определен в Пажеский корпус с оставлением в доме родителей».

1811

Начало года. — А. Ф. Баратынская с семерыми детьми (Евгением, Ираклием, Львом, Сергеем, Софьей, Натальей, Варварой) возвращается в Мару.

1812

Весна. — Петербург. Евгений Баратынский приезжает в частный немецкий пансион (пастора Коленса?) для подготовки к экзамену в Пажеский корпус.

Конец декабря. — Баратынский зачислен в Пажеский корпус «пансионером на своем содержании».

22 февраля. — Петербург. Рапорт главного директора Пажеского корпуса генерал-лейтенанта Клингера императору Александру I:

«Пажеского Вашего Императорского Величества корпуса пажи Ханыков и Баратынский, по прежнему дурному поведению из Корпуса, к родственникам их, не отпускались. По замеченному же в них раскаянию и исправлению в поведении, начальство Корпуса к поощрению их к дальнейшему исправлению желая изъявить им, что прошедшие их поступки предает забвению, решились отпустить их к родственникам на масляницу; но они, вместо того, чтобы идти к родственникам с присланными за ними людьми, с коими из Корпуса отпущены были, пошли к камергеру Приклонскому, по знакомству их с сыном его, пажем Приклонским, и вынули у него из бюро черепаховую в золотой оправе табакерку и пятьсот рублей ассигнациями. Директор Корпуса коль скоро о сем узнал, послал гофмейстера на придворный прачечный двор к кастелянше Фрейганг, у которой, по порученности от матери, находились, по случаю масляницы, два пажа Креницыны, у коих по известной по Корпусу между ними связи, предполагали найти и упомянутых пажей Ханыкова и Баратынского, как действительно и оказалось. Пажи сии, по приводе их в Корпус, посажены будучи под арест в две особые комнаты, признались, что взяли упомянутые деньги и табакер-

ку, которую изломав, оставили себе только золотую оправу, а на деньги накупили разных вещей на 270, прокатали и пролакомили 180, да найдено у них 50 рублей, кои, вместе с отобранными у них купленными ими вещами, возвращены г. камергеру Приклонскому. По важности такового проступка пажей Ханыкова и Баратынского, из коих первому пятнадцать лет, а другому шестнадцать лет от роду, я, не приступая к наказанию их, обязанностию себе поставляю Вашему Императорскому Величеству все подданнейше о сем донести».

Апрель. — Личное распоряжение Александра I — «чтобы исключенные из Пажеского корпуса за негодное поведение пажи Дмитрий Ханыков и Евгений Баратынский не были принимаемы ни в какую службу».

15 апреля. — Баратынский уволен из Пажеского корпуса; ему оставлено право поступить рядовым в армию.

Май. — Вице-адмирал Богдан Андреевич Баратынский увозит своего племянника Евгения из Петербурга в родовое имение Баратынских Подвойское (Бельский уезд Смоленской губернии).

Лето. — Подвойское. Возможно, к этому времени относится начало романа Евгения с Варенькой Кучиной — его дальней родственницей и соседкой по имению (согласно семейному преданию, она «первая любовь» Баратынского и адресат многих его ранних элегий).

Ноябрь — декабрь. — Подвойское. Баратынский болен нервной горячкой.

1817

23 января.	— Самое раннее из дошедших до нас стихотворений Баратынского: «Хор, петый в день именин дядьки Богдана Андреевича Баратынского».
Февраль.	— Баратынский едет к матери в Мару.
Осень.	— Баратынский возвращается в Подвойское.

1817—1818

У Баратынского «обильная переписка с Петербургом» (очевидно, с А. Креницыным и другими товарищами по Пажескому корпусу).

1818

Январь.	— Баратынский в Маре и Тамбове.
Весна — лето.	— Баратынский в Москве.
Осень.	— Баратынский приезжает в Петербург с намерением поступить рядовым в армию (живет, вероятно, у своего дяди Петра Андреевича Баратынского). Знакомство Баратынского (через кружок А. Креницына) с молодыми петербургскими поэтами, в том числе — с Антоном Антоновичем Дельвигом.

1819

8 февраля.	— Петербург. Баратынский принят рядовым в лейб-гвардии Егерский полк.
Февраль — март.	— Первое появление в печати стихотворений Баратынского (в журналах «Благонамеренный» и «Сын отечества»).

1819, февраль — 1820, январь

Баратынский и Дельвиг живут на одной квартире — в доме Ежевского, в Пятой роте Семеновского полка. Посещение Баратынским «литературных сред» В. А. Жуковского, «литературных суббот» П. А. Плетнева, общение с А. С. Пушкиным, В. К. Кюхельбекером, А. И. Одоевским, Д. И. Давыдовым, А. А. Бестужевым, Ф. Н. Глинкой, Н. И. Гнедичем, И. И. Козловым.

1820

4 января. — Петербург. По представлению великого князя Николая Павловича Баратынский произведен в унтер-офицеры с переводом в пехотный Нейшлотский полк, расквартированный в Финляндии.

26 января. — Избрание Баратынского в члены-корреспонденты Вольного общества любителей российской словесности.

1820, февраль — 1825, октябрь

Унтер-офицер Баратынский (в чине подпрапорщика) служит в Нейшлотском полку (место квартирования — крепость Кюмень в 300 километрах от Петербурга на побережье Финского залива) под командованием полковника Г. А. Лутковского. Сближение с ротным командиром, капитаном Николаем Михайловичем Коншиным — второстепенным поэтом. Неоднократное посещение (в отпусках и с полком) Петербурга и Москвы. Общение с А. А. Дельвигом, А. А. Бестужевым, К. Ф. Рылее-

вым, В. К. Кюхельбекером, В. А. Жуковским, П. А. Плетневым, Л. С. Пушкиным, С. А. Соболевским; посещение литературных салонов С. Д. Пономаревой и А. А. Воейковой; активное литературное творчество.

1823

5 сентября. — Петербург. Письмо А. А. Бестужева к П. А. Вяземскому с сообщением о том, что Баратынский продал ему и К. Ф. Рылееву свои сочинения за 4000 р. (для издания отдельной книгой).

1824

Май. — На смотре, устроенном финляндским генерал-губернатором А. А. Закревским, Баратынский знакомится с его адъютантом Николаем Васильевичем Путятой (впоследствии — ближайшим другом и родственником Баратынского).

1824, октябрь — 1825, февраль

Баратынский в Гельсингфорсе при корпусном штабе. Начало многолетнего увлечения поэта Аграфеной Федоровной Закревской.

1825

21 апреля. — В результате продолжительных хлопот друзей Баратынского император Александр I подписывает приказ о производстве Баратынского в офицеры.

Октябрь — декабрь. — Баратынский в отпуску в Москве в связи с болезнью матери. Собирается просить перевода в один

из московских полков. Д. В. Давыдов убеждает его подать в отставку.

1826

31 января. — Прапорщик Баратынский получил разрешение на отставку; живет в московском доме матери.

9 июня. — Москва. Венчание (в церкви Малого Вознесения?) Евгения Абрамовича Баратынского и Анастасии Львовны Энгельгардт, дочери отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта.

Сентябрь — октябрь. — Общение Баратынского с Пушкиным, прибывшим в Москву из Михайловской ссылки.

1825—1826

Сближение Баратынского в Москве с П. А. Вяземским; знакомство с московским кругом литераторов — Н. А. Полевым, М. П. Погодиным, В. Ф. Одоевским, С. П. Шевыревым и др.

1827

Весна — осень. — Баратынский с женой и новорожденной дочерью Александрой живет в Маре.

Начало ноября. — Москва. Вышла в свет книга «Стихотворения Евгения Баратынского» — первый сборник поэта (готовившийся еще в 1824 году А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым).

Ноябрь. — Баратынский с семьей возвращается из Мары в Москву; живет в доме своего тестя Л. Н. Энгельгардта в Чернышевом переулке (ныне ул. Станкевича, дом № 6).

1828

В январе Баратынский поступает на службу в Межевую канцелярию (получив вскоре чин коллежского регистратора). Проводит весь год в Москве; посещает салон З. Волконской, общается с прибывшим в Москву А. Мицкевичем.

1829

Начало тесного сближения и непрерывного общения (устного и письменного) с Иваном Васильевичем Киреевским.

1831

14 января. — Петербург. Смерть А. А. Дельвига.

27 января. — Москва. Баратынский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, Н. М. Языков справляют «тризну по Дельвигу».

17 февраля. — Баратынский присутствует на «мальчишнике» у А. С. Пушкина перед его свадьбой.

Лето. — Баратынский выходит в отставку в чине губернского секретаря.

1832

Январь. — Вышел в свет первый номер журнала «Европеец», издаваемого И. В. Киреевским. Баратынский активно участвует в новом издании.

Февраль. — На третьем номере «Европеец» запрещен по распоряжению правительства. Литературная продуктивность Баратынского резко падает; в печати на протяжении 1832—1834 гг. появилось лишь два его стихотворения.

1829—1833

Баратынский управляет принадлежащим матери имением Мара и занимается делами энгельгардтовского имения Каймары (под Казанью). Проводит много времени в разъездах.

1834

Москва. В письме от 16 июля Д. В. Давыдов сообщает братьям Языковым, что «Баратынский купил себе маленькую подмосковную, где совсем основался, а будет приезжать на зиму в Москву...» (возможно, это была усадьба Петровское, находившаяся где-то поблизости от Москвы). В Москве Баратынский вращается в кругу Киреевских — Елагиных, П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова, А. И. Кошелева, М. Ф. Орлова, Н. Ф. Павлова, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, Д. Н. Свербеева.

1835

Январь. — Баратынский покупает дом в Москве, на Спиридоновке (ныне улица Алексея Толстого; дом Баратынского не сохранился).

Март. — Москва. Вышел первый номер журнала «Московский Наблюдатель» с программным стихотворением Баратынского «Последний поэт».

Вторая половина апреля. — Москва. Вышла в свет книга «Стихотворения Евгения Баратынского», в двух частях (часть первая — стихи; часть вторая — поэмы). Это издание готовилось поэтом с 1832 года и замышлялось как

итог всего его творческого пути (из 83 стихотворений сборника 1827 года в новую книгу перешло 77).

1836

Октябрь. — В № 15 журнала «Телескоп» напечатано «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. «Баратынский пишет опровержение» (письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 24 октября 1836 года); ответ Баратынского, предназначавшийся для «Московского Наблюдателя», в печати не появился в связи с запрещением «Телескопа».

4 ноября. — Смерть тестя Баратынского Льва Николаевича Энгельгардта. Баратынский берет в свои руки управление подмосковным энгельгардтовским имением Мураново.

1837

29 января. — Петербург. Смерть А. С. Пушкина.

22 февраля. — Москва. Письмо Е. М. Хомяковой к М. П. Бестужевой с сообщением о том, что «Баратынский стал ужасно пить».

Лето. — Петербург. Женитьба Н. В. Путяты на Софье Львовне Энгельгардт — младшей сестре Анастасии Львовны Баратынской.

1838—1840

После прекращения существования журнала «Московский Наблюдатель» (весна 1838) связи Баратынского с московскими литературными кругами все более ослабевают.

Баратынский редко бывает в Москве, полностью уходит в хозяйственную деятельность в усадьбе Мураново.

1840

Январь — февраль. — Поездка Баратынского в Петербург. Общение с братом Ираклием, с семьей Путят, с П. А. Плетневым, П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским, С. А. Соболевским; посещение салона С. Н. Карамзиной; знакомство с М. Ю. Лермонтовым, А. О. Ишимовой, Я. К. Гротом; чтение с В. А. Жуковским рукописей А. С. Пушкина.

1841

Баратынский активно хозяйствует в усадьбе Мураново: сводит и продает лес, устраивает лесопилку и т. д. Разобрав старый усадебный дом, он приступает к постройке нового дома по собственному проекту. Семья Баратынских живет в 3 километрах от Муранова — в усадьбе Пальчиковых Артемово.

1842

Конец мая. — Москва. Вышла в свет книга «Сумерки» — третий и последний поэтический сборник Баратынского (включавший 26 стихотворений).

Осень. — Баратынские поселяются в новом мурановском доме. Баратынский пишет П. А. Плетневу о своих планах переселения в Петербург (письмо от 8 августа).

1843

Начало сентября. — Баратынский с семьей выезжает из Муранова в заграничное путешествие.

8 сентября. — Баратынские в Петербурге. Общение поэта с П. А. Плетневым, П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским. Баратынский обещает П. А. Плетневу помощь в издании журнала «Современник» по возвращении из-за границы и переселении в Петербург.

Осень. — Баратынский с женой Анастасией Львовной и детьми Александрой, Львом и Николаем (оставив остальных детей — Марию, Дмитрия, Юлию и Зинаиду — на попечение Путят) отправились «сухим путем в Берлин»; осматривают Потсдам, переезжают в Лейпциг, посещают Дрезден. Затем направляются в Париж (через Лейпциг, Франкфурт, Майнц, Кельн и Брюссель).

1843, ноябрь — 1844, апрель

Баратынские в Париже. Знакомство с французскими литераторами П. Мериме, А. и М. Сиркур, Ш. Нодье, А. Ламартином, Ш. Сент-Бевом, братьями Тьерри и др. Общение с А. И. Тургеневым и С. А. Соболевским; встречи с русскими эмигрантами — Н. И. Тургеневым, Н. П. Огаревым, Н. М. Сатиным, Н. И. Сазоновым, И. Г. Головиным, А. П. Свечиной.

1844

Апрель. — Баратынские приезжают в Марсель, откуда на пароходе при-

бывают в Италию. Ночью на пароходе Баратынский написал стихотворение «Пироскаф».

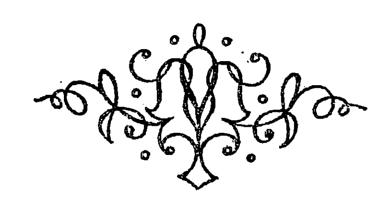
Апрель — июнь. — Семья Баратынских в Неаполе. Баратынский пишет свое последнее стихотворение — «Дядьке-итальянцу».

29 июня (11 июля). — Евгений Баратынский скоропостижно скончался в Неаполе. Гроб с телом поэта поставлен в лютеранской церкви до перевозки на родину.

1845

Август. — Кипарисовый гроб с телом поэта перевезен морем из Неаполя в Петербург.

31 августа. — Петербург. Похороны Е. А. Баратынского на кладбище Александро-Невской лавры. «Кроме семейства, родственников (Путят с женами) и домочадцев, были следующие литераторы: князь Вяземский, князь Одоевский (с женой), граф Владимир Сологуб — и только» (письмо П. А. Плетнева к Я. К. Гроту от 1 сентября 1845 года).



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Изд. 1869 — Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского.— М., 1869.

М — Е. А. Баратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских.— Пг., 1916.

П — Пигарев К. В. Мураново.— М., 1948.

ПСС — Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Т. I—II.— Л., 1936.— (Библиотека поэта. Большая серия).

С — 1827 — Стихотворения Евгения Баратынского.— М., 1827.

СН — Старина и Новизна. Исторический сборник. Кн. 5.— СПб, 1902.

ТС — Татевский сборник С. А. Рачинского.— СПб., 1899.

Х — Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество.— Осло, 1973.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу настоящей книги положено «мурановское» издание сочинений Евгения Баратынского, подготовленное по инициативе директора музея-усадьбы Мураново, доктора филологических наук К. В. Пигарева: «Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. Вступительная статья К. Пигарева. Подготовка текста и примечания О. Муратовой и К. Пигарева. ГИХЛ. М., 1951». Тексты (за исключением особо оговоренных) печатаются по этому изданию; в примечаниях использованы материалы этого издания, а также комментарии И. Н. Медведевой, Е. Н. Купреяновой, Г. Хетсо.

Композиция раздела стихотворений настоящего издания нуждается в объяснении. Составители отказались от сквозного хронологического принципа по двум причинам: во-первых, многие стихотворения Баратынского не поддаются сколько-нибудь точной датировке; во-вторых, хронологическое расположение требует разрушения тех поэтических книг, которые тщательно собирал Баратынский и которые образуют неповторимые вехи именно его поэтического пути. Таких поэтических вех, на наш взгляд, у Баратынского две: сборник 1835 года, подытоживший всю первую половину его творчества (почему он и вобрал в себя почти полностью первый сборник 1827 года) и «Сумерки» — единственная в своем роде поэтическая книга в русской поэзии первой половины XIX в. Композиция сборника 1835 года легла в основу первого раздела стихотворной части нашей книги: Баратынским были сняты почти все первоначальные заглавия стихотворений, которые расположены им под сквозной нумерацией «как части, главки лирической автобиографии поэта» (по замечанию И. Медведевой и Е. Купреяновой — *ПСС*, I, с. 353). К этой «лирической автобиографии» Баратынского 1818—1834 годов примыкают избранные стихотворения последующих десяти лет жизни поэта (стихотворения эти остались вне сборников и печатаются в приблизительном хронологическом по-

рядке); и, наконец, венчает весь творческий путь Баратынского его поэтическая книга «Сумерки».

Под стихотворениями поставлены даты их написания; угловые скобки означают, что стихотворение датируется по времени первой публикации (т. е. создано не позднее этого года); знаком вопроса отмечены предположительные датировки; двойная дата означает, что данный текст появился в результате кардинальной переработки первоначальной редакции стихотворения.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стр. 21. Финляндия. С этого стихотворения началась поэтическая известность Баратынского — как «певца Финляндии». Картины финской природы даны русским поэтом с большой точностью; однако вслед за своими предшественниками в поэтическом освоении финского края (Державиным, Жуковским, Батюшковым) Баратынский подменяет финскую мифологию скандинавской.

Стр. 24. «Я возвращуся к вам, поля моих отцов...». При первой публикации (журнал «Сын отечества», 1821, № VI) стихотворение называлось «Сельская элегия»; в *С — 1827* было названо «Родина». Остается спорным вопрос, о каком месте идет речь в этом стихотворении: об имении ли дяди поэта Подвойское в Смоленской губернии (где Баратынский жил по исключении из Пажеского корпуса) — или об усадьбе Мара Тамбовской губернии, родине поэта.

Стр. 30. «Расстались мы; на миг очарованьем...». При первой публикации (журнал «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, ч. IX) стихотворение называлось «Элегия»; в *С — 1827* было названо «Разлука». На экземпляре этого сборника, подаренном поэтом сестре Варваре Абрамовне (в замужестве Рачинской), ее мужем С. А. Рачинским сделана помета, что стихотворение обращено к Вареньке Кучиной (дальней родственнице Баратынского, жившей по соседству с усадьбой Подвойское). К ней же (согласно пометам С. А. Рачинского) обращены также стихотворения «Ропот» («Он близок, близок, час свиданья...»), «Разуверение» («Не искушай меня без нужды...») и «Оправдание» («Решительно печальных строк моих...»). Нельзя не согласиться с мнением современных исследователей (см. *ПСС*, I, стр. 350), что ряд любовных элегий, обращенных к В. Кучиной (первой любви Баратынского — согласно семейному преданию), следует дополнить; завершает же этот цикл стихотворение «Признание» («Притворной нежности не требуй от меня...») — высшее достижение Баратынского-элегика.

Стр. 44. Г<НЕДИ>ЧУ. Первоначальное заглавие (в *С — 1827)* — «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры». Обращено к поэту и переводчику Николаю Ивановичу Гнедичу (1784—1833), считавшему главным назначением современного поэта гражданственно-обличительную, «сатирическую» поэзию. *Сомов безмундирный* — Орест Михайлович Сомов (1793—1833), литератор и журналист. *Вельможа-гражданин* — Николай Семенович Мордвинов (1754—1845), адмирал, начавший службу при Екатерине («Фелице»); имел в конце александровского царствования репутацию просвещенного и независимого государственного деятеля.

Стр. 53. «Как много ты в немного дней...». Стихотворение написано в Гельсингфорсе в конце 1824 — начале 1825 гг., когда началось страстное увлечение Баратынского Аграфеной Федоровной Закревской (см. о ней в письмах поэта Н. В. Путяте этого периода; она же — героиня поэмы Баратынского «Бал»).

Стр. 55. Богдановичу. Послание адресовано умершему поэту Ипполиту Федоровичу Богдановичу (1743—1803), автору популярнейшей шуточно-эротической поэмы «Душенька». В этом послании (напечатанном в «Северных Цветах на 1827 год») Баратынский впервые выступил со своей оценкой современной поэзии, подводя итоги и собственной литературной деятельности, отыскивая для нее новое направление. *Избрать в советники кота и петуха.*— Живя в полном уединении, Богданович имел при себе кота и петуха, которых называл своими друзьями. *Недавно от него товарищ твой Назон/Посланье получил.*— Имеется в виду послание Пушкина «К Овидию» (1821 г.).

Стр. 68. «Я посетил тебя, пленительная сень...» При первой публикации (в журнале «Библиотека для чтения», 1835, т. VIII) имело заглавие «Запустение. Элегия». В стихотворении отразились впечатления поэта от родной усадьбы Мара, в которой он провел осень 1833 года. *Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен* — речь идет об отце поэта А. А. Баратынском (умершем в 1810 году в Москве и похороненном в Спасо-Андрониковом монастыре).

Стр. 77. К <НЯГИНЕ> З. А. Волконской. При первой публикации (альманах «Подснежник на 1829 год») имело заглавие «Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию». Посвящено Зинаиде Александровне Волконской, рожд. кн. Белосельской-Белозерской (1792—1862), поэтессе и музыкантше, хозяйке известного московского литературно-артистического салона. *Коринна*— героиня романа французской писательницы Жермены де Сталь

«Коринна или Италия», нарицательное имя высокоодаренной женщины (Волконскую называли «северной Коринной»).

Стр. 81. А. А. Ф...ОЙ. Посвящено казанской знакомой Баратынского Александре Андреевне Фукс.

Стр. 83. «Хвала, маститый наш Зоил...». Эпиграмма направлена против издателя «Вестника Европы» Михаила Трофимовича Каченовского (1775—1842), в журнале которого в 1828—1829 гг. подвергалось резкой критике творчество поэтов пушкинского круга (в статьях Н. И. Надеждина).

Стр. 93. «Не подражай: своеобразен гений...». Обращено к польскому поэту Адаму Мицкевичу в связи с выходом в свет (1828) его поэмы «Конрад Валленрод», в которой находили подражание Байрону. *Дорат* — второстепенный французский поэт К.-Ж. Дора (1734—1780). *С Израилем певцу один закон.*— Намек на библейскую заповедь: «Не сотвори себе кумира» (Исход, гл. 20, 4).

Стр. 98. «Судьбой наложенные цепи...». Стихотворение биографически связано с освобождением Баратынского от вынужденной и тягостной военной службы в начале 1826 года и с приездом весной следующего года вместе с молодой женой Анастасией Львовной Энгельгардт и новорожденной дочерью Александрой в родную усадьбу Мара. *Далече бедствуют иные, И в мире нет уже других* — перефразировка пушкинского эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану»; после казни и ссылки декабристов (многие из которых были для Баратынского близкими, «братьями») эти строки воспринимались как намек на декабрьскую катастрофу.

Стр. 106. «Есть милая страна...». В стихотворении описывается Мураново — подмосковная усадьба Л. Н. Энгельгардта, первые посещения которой Баратынским состоялись в связи с его женитьбой на Анастасии Львовне Энгельгардт. *Она, которой нет* — умершая в 1826 году от чахотки свояченица поэта Наталья Львовна Энгельгардт.

Стр. 107. При посылке «Бала» С. Э. Обращено к свояченице поэта Софье Энгельгардт в связи с посылкой ей отдельного издания поэмы «Бал».

Стр. 120. «Вот верный список впечатлений...». Стихотворение представляет собой «предисловие в стихах», которое Баратынский собирался предпослать итоговому сборнику 1835 года; однако это предисловие по неизвестным причинам в книге не появилось (как и задуманный поэтом «заглавный лист с музыкальным эпиграфом»).

Стр. 122. Коттерии. Коттерия *(фр.)* — кружок заговорщиков, действующих неблаговидными путями. Этим словом Баратын-

ский называет круг своих бывших московских друзей (Киреевские-Елагины, Свербеев, Шевырев и др.), с которыми он порвал отношения к началу 1840-х годов, оказавшись в полном одиночестве и угнетаемый постоянной мыслью о преследовании со стороны своих недругов (этот же конфликт отразился в стихотворениях «На все свой ход...», «Спасибо злобе хлопотливой...», «На посев леса»).

Стр. 123. С книгою «СУМЕРКИ» С. Н. К. Стихотворение приложено к сборнику «Сумерки», посланному летом 1842 года в Петербург Софии Николаевне Карамзиной (1802—1856), дочери историографа.

Стр. 125. «Когда, дитя и страсти и сомненья...». Стихотворение написано в начале 1844 г. в Париже и посвящено жене поэта Анастасии Львовне.

Стр. 126. Пироскаф. Написано весной 1844 г. на пароходе, во время переезда морем из Марселя в Италию. *Пироскаф* — пароход, *Ливурна* — Ливорно, порт в Италии.

Стр. 127. Дядьке-итальянцу. Написано в Италии и посвящено памяти «дядьки» (пестуна, воспитателя) поэта, итальянца Джьячинто Боргезе. *С выбором загадочных картин* — в России Боргезе начинал как торговец картинами. *Суворовских солдатов* — подразумевается итальянский поход Суворова 1799 г. *Тебе предстал и он* — имеется в виду второй итальянский поход Наполеона Бонапарта в 1800 г. *Серебряные ложки* — по приказу Бонапарта все серебро итальянского населения должно было быть сдано французам. *Великий прах властителя стихов* — речь идет о похороненном в Неаполе римском поэте Вергилии (70—19 гг. до н. э.), авторе «Энеиды». *Сумрачный поэт* — Байрон.

Стр. 131. Князю Петру Андреевичу Вяземскому. Написано в конце 1834 г. и послано Вяземскому (находившемуся за границей) с экземпляром издания 1835 года. *Да скоро минет скорбный час!* — имеется в виду тяжелая болезнь дочери Вяземского Прасковьи (она вскоре умерла). *Звезда разрозненной плеяды* — Баратынский имеет в виду близкий ему круг поэтов 1820-х гг., оказавшийся теперь «разрозненным» — в связи со смертью одних (Рылеева, Дельвига) и разобщенности с другими (в частности с Пушкиным).

Стр. 132. Последний поэт. *Вновь Эллада ожила* — в 1830 г. Греция освободилась от турецкого ига и стала независимым государством.

Стр. 136. «Увы! Творец не первых сил!» Эпиграмма на Ивана Ивановича Лажечникова (1792—1869), исторического романиста; его роман «Басурман» (1838) имел необычную орфографию. *Неаполь возмутил рыбарь* — в 1647 г. рыбак Мазаниело,

возглавив в Неаполе восстание против испанского владычества, захватил власть на несколько дней.

Стр. 143. «Здравствуй, отрок сладкогласный!» Обращено к старшему сыну поэта Льву по случаю его первого опыта в стихотворстве.

ПРОЗА

Стр. 155. О заблуждениях и истине. Печатается по первой публикации: «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. XIII, стр. 25—36. Датируется 1820 годом.

Стр. 160. История кокетства. Печатается по первой публикации: «Северные Цветы на 1825 год», стр. 109—118. Датируется предположительно 1824 годом.

Стр. 163. <Предисловие к отдельному изданию поэмы «Наложница»>. Впервые напечатано при отдельном издании поэмы в 1831 г. *Панар Ш.-Ф.* (1674—1765) — французский поэт. *Федра* — героиня одноименной трагедии великого французского драматурга Жана Расина (1639—1699). *Квинт Курций* — римский историк I в., автор истории Александра Македонского. *Подробные хроники развращения* — имеется в виду французский «ужасный» роман конца 20-х гг. XIX в. *Киприду иногда являл без покрывала* — цитата из «Послания цензору» Пушкина. *Подражатель Анакреона* — Г. Р. Державин (1743—1816), автор «Анакреонтических песен». *Счет поцелуев* — стихотворение И. И. Дмитриева (1760—1837). *Проперций* — римский поэт I в. до н. э. *Шолье Г.* (1639—1720) — французский поэт, писавший на анакреонтические темы.

Стр. 171. Перстень. Повесть закончена Баратынским в конце ноября — начале декабря 1831 г. и впервые напечатана в журнале «Европеец», 1832, ч. I.

ПИСЬМА

В настоящее время известно около 300 писем Баратынского (обзор его эпистолярного наследия см.: *Х.*, стр. 702—710). Печатаем 106 писем поэта к семи адресатам: матери, А. А. Дельвигу, А. С. Пушкину, П. А. Вяземскому, П. А. Плетневу, И. В. Киреевскому, Н. В. Путяте.

А. Ф. БАРАТЫНСКОЙ

Со своей матерью, Александрой Федоровной Баратынской (1776—1852), поэт переписывался всю жизнь — начиная с отро-

ческого возраста. Сохранилось около 70 его писем к ней (в основном на французском языке).

1

[1] Письмо (по-французски) написано из Пажеского корпуса.

[2] Петр Андреевич Баратынский (1770—1845).

2

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 37—38 (перевод этого письма и писем №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 сделан Л. М. Завьяловой).

[1] Сестра Баратынского Софья Абрамовна (1801—1844).

3

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 41—42.

[1] Брат Баратынского Сергей Абрамович (1807—1866).

[2] Закревский Арсений Андреевич, граф (1783—1865) — генерал-губернатор Финляндии.

[3] Закревская Аграфена Федоровна, рожд. Толстая (1800—1879) — жена А. А. Закревского.

4

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 54—55.

[1] Баратынская Софья Ивановна — вдова дяди поэта, контр-адмирала Ильи Андреевича.

[2] Дочь Баратынских Юлия Евгеньевна (1837—1874).

[3] Сестра Баратынского Наталья Абрамовна (1810—1855).

[4] Брат Баратынского Ираклий Абрамович (1802—1859)

[5] Баратынская Анна Давыдовна, рожд. кн. Абамелек (1816—1889) и Софья Львовна Путята, рожд. Энгельгардт (1811—1884).

[6] Смирдин Александр Федорович (1795—1857) — петербургский книгопродавец и издатель. Это издание не состоялось.

[7] Баратынский с семьей собирался ехать в Крым; эта поездка не осуществилась.

5

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 60—61.

[1] Осенью 1841 года, на время строительства нового мурановского дома, Баратынский нанял дом в соседней усадьбе Пальчиковых Артемово.

[2] Старшая дочь Баратынских Александра Евгеньевна (1827—1874).

6

[1] «Сумерки» (книга вышла в конце мая 1842 года).

[2] Дом в Муранове.

[3] Эллерс (вероятно, он — автор того выразительнейшего портрета сорокалетнего Баратынского, который помещен на обложке нашей книги; портрет этот находится в собрании Музея-усадьбы Мураново).

7

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 63—64.

[1] Усадьба Николая Ивановича Кривцова (1791—1843) в Кирсановском уезде Тамбовской губернии, устроенная в стиле английского загородного дома.

[2] Вяжля — другое название поместья Мары.

[3] Скуратово — сельцо в Чернском уезде Тульской губернии, общее имение жены поэта Анастасии Львовны и ее сестры Софьи Львовны Путяты.

8

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 67.

[1] Баратынская Наталья Абрамовна.

[2] Павлов Николай Филиппович (1805—1864) — московский литератор, знакомый Баратынского.

9

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 70—71.

[1] Черепанова Екатерина Федоровна — сестра матери поэта.

10

Печатается в переводе с французского по *М*, с. 76.

[1] Жена известного английского пианиста Джона Филда (1782—1837).

А. А. ДЕЛЬВИГУ

Поэт Антон Антонович Дельвиг (1798—1831) был одним из самых близких друзей Баратынского. Письма Баратынского к Дель-

вигу, несомненно, содержали немало ценнейших сведений о внутренней, духовной жизни Баратынского в 1820-е годы; но эти письма не сохранились, ныне известно только одно из них.

11

Письмо впервые полностью опубликовано: X, с. 591—592; печатается по этому изданию.

[1] Баратынский имеет в виду свои стихотворения «Фея» и «Уверение».

[2] Кроме «Бесенка», в «Северных Цветах на 1829 год» было напечатано еще девять произведений поэта.

[3] Имеется в виду идиллия Дельвига «Конец золотого века».

[4] Это письмо Пушкина неизвестно (сохранился набросок статьи Пушкина о поэме Баратынского «Бал»).

[5] Жена Дельвига.

[6] Далее зачеркнуты и не поддаются прочтению полторы строки.

[7] Брат Баратынского Сергей Абрамович.

[8] Московский книгопродавец.

[9] Имеется в виду роман А. А. Перовского (писавшего под псевдонимом «А. Погорельский») «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». Ч. 1—2. СПб., 1828.

А. С. ПУШКИНУ

Баратынский и Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) составляли как бы «поэтический дуумвират» — были двумя крупнейшими поэтами своего поколения. Их скрытое творческое соревнование, их сложные личные отношения возбуждали интерес не только у современников, но и у людей следующих поколений. «Баратынский и Пушкин» — интереснейшая культурно-биографическая и историко-литературная проблема — продолжает оставаться открытой (несмотря на значительную литературу, посвященную этому вопросу). Известны три письма Баратынского к Пушкину.

12

[1] Баратынский имел у друзей прозвище «маркиза» за пристрастие к литературе французского классицизма.

[2] «Шекспировы духи. Драматическая шутка В. К. Кюхельбекера» (СПб., 1825).

[3] Поэма Баратынского «Эда» вышла отдельной книжкой в 1826 году.

13

[1] Альманах на 1826 год, изданный М. П. Погодиным (1800—1875).

[2] «Я есмь» — стихотворение С. П. Шевырева (1806—1864).

[3] Имеется в виду кружок московских «любомудров», увлекавшийся «трансцендентальной философией» Шеллинга.

[4] Галич Александр Иванович (1783—1848) — профессор словесности, шеллингианец; Баратынский имеет в виду его сочинение «Опыт науки изящного» (1825).

[5] Камоэнс Луис (1525—1580) — португальский поэт, создатель эпической поэмы «Лузиада».

[6] «Стихотворения Александра Пушкина». СПб., 1826.

14

[1] Баратынский имеет в виду свои встречи с Пушкиным в Москве осенью 1826 и зимой 1827 гг.

[2] С выходом финальных глав «Евгения Онегина» мнение Баратынского о пушкинском романе изменилось (см. *ТС*, с. 41—42).

[3] Пушкин Василий Львович (1767—1830).

[4] Герой баллады В. А. Жуковского «Громобой».

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

С поэтом и литературным критиком Петром Андреевичем Вяземским (1792—1878) Баратынский сблизился после своего переезда в Москву в 1825 году и сохранял с ним дружеские отношения все дальнейшие годы. Известны 20 писем Баратынского к Вяземскому.

15

[1] Вяземский прислал Баратынскому отдельный оттиск своего стихотворения «Станция».

[2] Пушкин отправился в кавказскую поездку 1 мая 1829 г.

[3] Роман Ф. Булгарина «Иван Выжигин» (1829).

[4] Вяземская Вера Федоровна, рожд. кн. Гагарина (1790—1886) — жена П. А. Вяземского.

16

Печатается по *СН*, с. 46—47.

[1] Летом 1829 года умерла годовалая дочь Баратынского.

[2] В Пензенской губернии находилось имение Вяземских.

17

Печатается по *СН*, с. 47—48.

[1] Вяземский перевел на русский язык роман французского писателя Б. Констана «Адольф».

[2] Предполагавшееся предисловие Вяземского к изданию сочинений Д. Фонвизина.

[3] В альманахе «Денница» был напечатан отрывок из поэмы «Наложница».

18

[1] В Москве свирепствовала эпидемия холеры.

[2] Вероятно, поэма «Наложница».

[3] Стихотворение Вяземского «Прогулка в степи».

19

Печатается по *СН*, с. 49—50.

[1] Стихотворение «К ним» («За что служу я целью мести вашей...») было направлено против недоброжелателей, завистников и клеветников Вяземского (в частности Булгарина).

20

[1] Очевидно, Баратынский Ираклий Абрамович.

[2] Вяземский находился в Петербурге.

[3] Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор, участник декабристского движения, близкий знакомый многих русских литераторов; был женат на Екатерине Николаевне Раевской (1805?—1885).

[4] Несколько измененная цитата из обращенного к Д. Давыдову послания «К старому гусару».

[5] Сделка эта не состоялась.

21

[1] Отца А. С. Пушкина Сергея Львовича.

[2] Тесть Баратынского Лев Николаевич Энгельгардт умер в Москве 4 ноября 1836 г.

22

[1] Стихотворение «Осень», посланное Баратынским в «Современник».

23

Печатается по *СН*, с. 55.

П. А. ПЛЕТНЕВУ

Петербургский литератор Петр Александрович Плетнев (1792—1865) был знаком с Баратынским на протяжении полувека — оставшись к концу 1830-х годов одним из немногих близких Баратынскому людей. Из их переписки сохранилось 6 писем Баратынского.

24

Печатается по *X*, стр. 598.

25

[1] Биография Дельвига не была закончена Баратынским и не сохранилась.

26

[1] Путята Софья Львовна.

[2] «Толпе тревожный день приветен» («Отечественные записки», 1839, т. II).

[3] «Благословен святое возвестивший», «Были бури, непогоды», «Еще, как патриарх, не древен я» (напечатаны в «Современнике», 1839, т. XV).

28

Печатается по *X*, стр. 635—636.

[1] Грот Яков Карлович (1812—1893) — профессор русского языка, словесности и истории Гельсингфорского университета; близкий знакомый Плетнева.

[2] Вдова А. С. Пушкина.

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

Сближение Баратынского с московским философом и литератором Иваном Васильевичем Киреевским (1806—1856) произошло в конце 1820-х годов, перейдя вскоре в самые тесные дружеские отношения, насыщенные интенсивным духовным общением (в том

числе и в переписке). Разрыв отношений с И. В. Киреевским (по причинам, не вполне еще выявленным) в конце 1830-х годов был драматическим событием в жизни Баратынского. Сохранилось более 50 писем Баратынского к Киреевскому.

29

Печатается по *ТС*, с. 5—6.

[1] И. В. Киреевский уехал за границу в апреле 1830 г.

[2] Паскевич-Эриванский И. Ф. (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, командующий русской армией на Кавказе в 1826—1830 гг.

[3] Елагина Авдотья Петровна (1789—1877), рожд. Юшкова, по первому мужу Киреевская.

30

Печатается по *ТС*, с. 6—7.

[1] Максимович Михаил Александрович (1804—1873) — издатель альманаха «Денница».

[2] Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — приятель Баратынского и Пушкина, известный острослов, эпиграммист и библиофил.

31

[1] Отрывок из поэмы «Наложница».

32

Печатается по *ТС*, с. 9—10.

33

Печатается по *ТС*, с. 14—15.

[1] «Мертвый осел» и «Исповедь» — романы французского писателя Ж. Жанена (1804—1874).

[2] Филдинг Генри (1707—1754) — английский романист и драматург.

[3] Скотт Вальтер (1771—1832) — английский исторический романист.

[4] Московский книгопродавец.

[5] Языков Николай Михайлович (1803—1846).

34

[1] Киреевский писал роман «Две жизни», оставшийся незаконченным.

35

[1] Продажа издания поэмы «Наложница».

[2] Ширяев, Кольчугин — московские книгопродавцы.

36

[1] Ричардсон (1689—1761) — английский писатель, автор романа «Кларисса Гарлоу».

37

[1] Киреевский работал над статьей «Обозрение русской словесности за 1831 г.»

[2] Баратынский называет по имени героини трагедию Шиллера «Орлеанская дева», переведенную Жуковским.

38

[1] Статья Н. И. Надеждина, полемизировавшего с предисловием Баратынского к поэме «Наложница».

39

[1] Стихотворение Жуковского «Старая песня на новый лад» и стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

[2] Драма Баратынского до нас не дошла.

[3] Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — автор романов «Юрий Милославский» (1829), «Рославлев» (1831) и др.

[4] Розен Егор Федорович (1800—1860) — литератор, издатель альманахов «Царское Село» (1830) и «Альциона» (1831), в которых печатался Баратынский.

40

[1] Баратынский имеет в виду свою жену.

[2] Вильмен Абель-Франсуа (1790—1870) — французский критик и историк; «замаранный том» — вероятно, его «Курс французской литературы» (1828).

[3] Гизо Франсуа (1787—1874) — французский историк и политический деятель, автор трудов «История цивилизации в Европе» (1828) и «История цивилизации во Франции» (1829—1832).
[4] Юрбен, французский книгопродавец в Москве.

41

[1] Дочь поэта Мария Евгеньевна.
[2] Журнал, готовившийся к изданию Киреевским.

42

[1] «Антикритика» — ответ на статью Н. И. Надеждина.
[2] Предисловие к поэме «Наложница».
[3] «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя.
[4] Этот план неизвестен.
[5] «В дни безграничных увлечений».
[6] Елагин, отчим Киреевского.

43

[1] Повесть «Перстень».

44

Печатается по *ТС*, с. 25—26.

46

[1] Арцыбашев Николай Сергеевич (1773—1841) — историк, известный своей полемикой с Карамзиным.

48

[1] «Языков, буйства молодого...»
[2] «Бывало, свет позабывая...»
[3] Перцов Ераст Петрович (1804—1873) — поэт и драматург.

49

[1] Первый номер «Европейца» открывался статьей Киреевского «Девятнадцатый век», ставшей поводом для запрещения журнала на третьем номере (22 февраля 1832 года).

52

Печатается по *ТС*, с. 43.

53

[1] Гоголь прислал Баратынскому в Казань экземпляр своих «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

[2] Трагедия Хомякова Алексея Степановича (1804—1860) «Дмитрий Самозванец».

[3] Павлова Каролина Карловна (1807—1893) — поэтесса и переводчица.

[4] Энгельгардт Софья Львовна.

[5] Лицо неизвестное.

54

Печатается по *ТС*, с. 45—46.

55

[1] Намек на поэта Д. И. Хвостова (1757—1835), имевшего репутацию графомана.

[2] Л. Н. Энгельгардт и его дочь Софья.

56

[1] Виланд Христофор-Мартин (1733—1813) — немецкий писатель.

57

[1] Гюго Виктор (1802—1885) — французский писатель.

[2] Барбье Анри-Огюст (1805—1882) — французский поэт.

58

Печатается по *ТС*, с. 49—50.

[1] Берже Филипп (1783—1867) — художник.

60

[1] С 1834 г. А. Ф. Смирдин (совместно с О. И. Сенковским) издавал журнал «Библиотека для чтения».

[2] В 1831 г. группа французских литераторов с целью поправить дела разорившегося парижского книгопродавца и издателя Ладвоката предприняла многотомное издание «Париж, или книга ста одного».

62

[1] Корректура нового издания стихотворений Баратынского (вышло в 1835 г.).

[2] Предисловие («Вот верный список впечатлений...») и музыкальный эпиграф не были помещены в издании.

[3] Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), собиратель русских народных песен.

63

Печатается по *ТС*, с. 57—58.

Н. В. ПУТЯТЕ

Николай Васильевич Путята (1802—1877) познакомился с Баратынским в мае 1824 года в Финляндии (будучи адъютантом финляндского генерал-губернатора А. А. Закревского). В 1830—1840-х годах их дружеские отношения были скреплены родственной связью (они были женаты на сестрах Анастасии и Софье Энгельгардт). Их переписка наполнялась не только общими литературными интересами (Путята смолоду был знаком со многими русскими поэтами, впоследствии был заметной фигурой в русской литературной жизни), но в значительной степени общими житейскими и хозяйственными заботами (связанными с делами подмосковной усадьбы Энгельгардтов Мураново). Сохранилось более 40 писем Баратынского к Путяте.

65

[1] В письме к Баратынскому Путята (сообщая, что А. А. Закревский разрешил ему приехать в Гельсингфорс и находиться при корпусном штабе) приглашал поэта остановиться у него.

66

[1] При отъезде из Финляндии в начале февраля 1825 года Путята взял неопубликованные стихи Баратынского для помещения в московских и петербургских альманахах и журналах.

[2] Муханов Александр Алексеевич — адъютант А. А. Закревского.

[3] А. Ф. Закревская.

[4] Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский проповедник. Баратынский цитирует его надгробное слово, произнесенное в 1670 г. на похоронах герцогини Орлеанской и считавшееся образцом красноречия.

67

[1] Строфа из стихотворения «Череп».

[2] А. Ф. Закревская.

[3] «Бал».

68

[1] А. Ф. Закревская.

[2] Стихотворение Баратынского, напечатанное в 1825 г. в журнале «Мнемозина», издававшемся писателем Владимиром Федоровичем Одоевским (1803—1869).

[3] Намек на цензурные препятствия, возникшие при публикации стихотворения «Буря» (в четвертой части «Мнемозины» за 1825 г.).

69

Печатается по автографу, хранящемуся в *ЦГАЛИ*.

[1] Баратынский был произведен в офицеры Нейшлотского полка.

[2] Одно из имен, данное Баратынским А. Ф. Закревской.

70

[1] Англичанка, жившая в доме Закревских.

[2] Молодая девушка, уроженка Финляндии, сопровождавшая А. Ф. Закревскую в Петербург.

71

Печатается по автографу, хранящемуся в *ЦГАЛИ*.

[1] Шернваль Аврора Карловна (1808—1902) — дочь выборгского губернатора.

[2] Ознобишин Дмитрий Петрович (1804—1877) — поэт, переводчик.

72

[1] Путята Екатерина Ивановна, рожд. Ефимович (ум. в 1833 г.)

[2] Отрывок из поэмы Баратынского «Эда» («Московский телеграф», 1825, № 22).

[3] Бутков Петр Григорьевич (1775—1857) — чиновник особых поручений при финляндском генерал-губернаторе, историк.

[4] А. А. Закревскому.

[5] Вероятно, младший брат Путяты.

73

Печатается по автографу, хранящемуся в *ЦГАЛИ*.

[1] Толстой («Американец») Федор Иванович (1782—1846) — отставной гвардеец, известный скандальными приключениями.

74

Печатается по автографу, хранящемуся в *ЦГАЛИ*.

[1] Витгинштейн П. X.— командующий второй армией, штаб которой находился в Тульчине.

[2] Т. е. А. А. Закревского.

76

Печатается по Изд. 1869.

[1] В 1828—1829 гг. Россия вела войну с Турцией: Путята участвовал в военных действиях на Балканах.

[2] Адрианополь — город на северо-западе Турецкой империи, где в сентябре 1829 г. был подписан мирный договор, завершивший русско-турецкую войну.

78

Печатается по *X*, с. 611—612.

79

Печатается по *X*, с. 612—613.

80

Печатается по *X*, с. 613—614.

[1] Каймары (Кирилловское) — село в Казанской губернии, принадлежавшее Энгельгардтам.

81

Печатается по *X*, с. 614—615.

[1] Энгельгардт Петр Львович (1802—1847), душевнобольной брат Анастасии Львовны Баратынской и Софьи Львовны Путяты.

[2] Саблер Василий Федорович (1797—1878) — московский врач, владелец частного приюта для душевнобольных.

[3] Бекер Герман Генрих — онемеченный латыш, бывший гувернер детей Баратынского, впоследствии — управляющий Мурановым.

82

Печатается по *X*, с. 615—616.

83

Печатается по *X*, с. 632—633.

[1] Кичеев Петр Григорьевич — московский адвокат и литератор (в его книге «Из недавней старины. Рассказы и воспоминания», М., 1870 — воспоминания о Баратынском, который познакомился с ним летом 1835 г. в Москве и поручал ему различные дела).

84

Печатается по *X*, с. 633.

85

Печатается по *X*, с. 633—634.

86

Печатается по *П*, с. 126—130.

87

Печатается по *П*, с. 130—136.

[1] Глебовское — имение Баратынского во Владимирской губернии.

88

Печатается по *П*, с. 136—137.

89

Печатается по *П*, с. 137—138.

[1] Весной 1842 года Путяты собрались ехать за границу и предварительно должны были привезти к Баратынским двух своих младших детей — Олю и Катю. В конце апреля С. Л. Путята привезла их в Мураново.

[2] Братовщина — село в 32 верстах к северу от Москвы, в 18-ти верстах от Муранова (вблизи современной станции «Правда» Ярославской ж. д.).

90

Печатается по *П*, с. 138.

[1] Вероятно, в селе Даниловском, где до конца 1840-х годов была церковь.

[2] Имеется в виду указ (опубликован 2 апреля 1842 г.) об обязанных крестьянах, по которому помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости с предоставлением им земельного надела. За это крестьяне должны были нести в пользу помещика «обязанности», определяемые специальным соглашением. Закон об обязанных крестьянах не имел почти никакого практического применения.

91

Печатается по *X*, с. 634.

92

Печатается по *П*, с. 138—141.

[1] Атамышь — деревня в Казанской губернии, принадлежавшая Энгельгардтам.

[2] Вероятно, Неелов Сергей Александрович (1779—1852) — поэт-юморист, московский знакомый Баратынского.

[3] Путята Аполлон Григорьевич (р. в 1812 г.) — двоюродный брат Н. В. Путяты.

[4] Оброки с имения Петровское (точных сведений об этой подмосковной Баратынских нет).

93

Печатается по *X*, с. 635.

94

Печатается по *П*, с. 141—142.

[1] Карамзина Софья Николаевна (1802—1856) — дочь историографа, благодарила Баратынского за присылку сборника «Сумерки», в сопровождении посвященных ей стихов («Сближеньем с вами на мгновенье...»).

95

Печатается по *П*, с. 142—143.

[1] См. прим. 1 к письму № 10.

[2] Вознесенское (Мамонино) — село в Казанской губернии, принадлежавшее Энгельгардтам.

96

Печатается по *П*, с. 143—145.

[1] Путята Анна Васильевна (1810—1880) — сестра Н. В. Путяты.

[2] Путята Анастасия Николаевна (1838—1848) — старшая дочь Путят.

97

Печатается по *Изд. 1869*.

98

[1] Цитата из шуточного стихотворного послания И. И. Дмитриева «Путешествие NN в Париж и Лондон» (написанного от лица Василия Львовича Пушкина).

[2] Аристократическое Сен-Жерменское предместье Парижа.

[3] Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский поэт и политический деятель.

[4] Маркиза д'Агессо.

[5] Нодье Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик.

[6] Один из двух братьев Тьерри: Огюстен (1795—1856) или Амедей (1797—1873). Баратынский был знаком с обоими Тьерри — известными историками.

[7] Сиркуры: Адольф де Сиркур, граф (1801—1879) — французский литератор, и его жена — Мария-Анастасия (1813—1863), рожд. Хлюстина.

[8] Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — русский литературный деятель.

[9] Балабин Евгений Петрович — русский дипломат.

99

[1] Сент-Бёв Шарль-Огюст (1804—1869) — французский поэт и критик.

[2] Мериме Проспер (1803—1870) — французский писатель.

[3] Ансло Маргарита-Луиза-Виргиния (1792—1875) — французская писательница.

[4] Псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804—1876).

[5] Легитимисты — сторонники «законной» (легитимной) династии Бурбонов во Франции после Июльской революции 1830 г.

[6] Партия «устойчивости», находившаяся в то время у власти и противостоявшая партии «движения».

[7] Луи Филипп (1773—1850) — французский король с 1830 по 1848 г.

101

[1] Смерть отца Н. В. Путяты, Василия Ивановича (умер 4 декабря 1843 г.). Во время Отечественной войны 1812 года и походов 1813—1815 гг. он занимался устройством госпиталей и снабжением русской армии.

[2] Тургенев Александр Иванович.

[3] Равиньян (1795—1858) — французский проповедник-иезуит (орден иезуитов был официально уничтожен во Франции после революции 1830 года).

[4] См. прим. 3 к письму № 40.

102

[1] Намерение Баратынского заказать в Париже или в Италии свой литографированный портрет осуществлено не было.

[2] Намек на разрыв Баратынского с московскими литераторами.

103

[1] Из Парижа в Италию Баратынские выехали в апреле 1844 года (точная дата отъезда неизвестна).

[2] Баратынский Николай Евгеньевич (1836—1898) — младший сын поэта.

[3] Герои одного из сказаний в «Метаморфозах» Овидия: старые супруги, оказавшие радушный прием Зевсу и Гермесу и превращенные после их одновременной смерти в деревья.

[4] Хлюстин Семен Семенович (1810—1844) — общий знакомый Пушкина, Баратынского и Путяты.

104

Печатается по *Изд. 1869*.

105

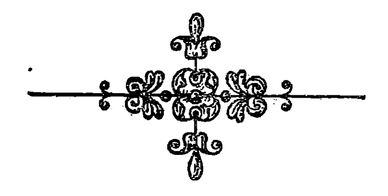
[1] Последнее письмо Баратынского к Путятам, написанное за несколько дней до его внезапной смерти.

[2] «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу» — последние стихотворения Баратынского.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Письмо Е. А. Баратынского к В. А. Жуковскому.

Написано в начале 1824 г. по просьбе В. А. Жуковского, хлопотавшего в Петербурге о смягчении участи Баратынского.



СЛОВАРЬ

мифологических, исторических и условно поэтических имен и названий

Авзония — древнее название Италии.

Аврора — богиня утренней зари (*римск. миф.*).

Адонис — юноша-красавец, возлюбленный Афродиты (*греч. миф.*).

Аид, Айдес — загробный мир (*греч. миф.*).

Аквилон — олицетворение северного ветра (*римск. миф.*).

Алкивиад (450—404 до н. э.) — знаменитый своим честолюбием афинянин.

Амур — бог любви (*римск. миф.*).

Анакреон (VI—V вв. до н. э.) — греческий лирик, воспевавший любовь, пиры и веселье.

Анахорет — отшельник (*греч.*).

Аониды — музы.

Аппел, Апеллес (IV в. до н. э.) — греческий живописец.

Апис — священный бык (*египет. миф.*).

Аполлон — бог света и искусства (*греч. миф.*).

Арей — бог войны (*греч. миф.*).

Аристипп (435—360 до н. э.) — греческий философ.

Армида — героиня поэмы «Освобожденный Иерусалим» Тассо, обладательница волшебного сада, синоним обольстительной красавицы.

Афина — дочь Зевса, богиня войны и победы, мудрости и знаний, искусств и ремесла (*греч. миф.*).

Афродита — богиня красоты и любви (*греч. миф.*).

Ахилл, Ахиллес — герой «Илиады» Гомера. На его теле было только одно уязвимое место — пята (*греч. миф.*).

Вакх — бог вина и веселья (*греч. миф.*).

Венера — богиня любви и красоты (*римск. миф.*).

Вулкан — бог огня и кузнечного дела *(римск. миф.)*.

Галатея — морская нимфа; ее статую полюбил скульптор Пигмалион *(греч. миф.)*.

Геликон — гора в Греции, посвященная Аполлону и музам.

Гея — богиня земли *(греч. миф.)*.

Гимен, Гименей — бог брака *(греч. миф.)*.

Гомер (Омир) — знаменитый поэт древней Греции, автор «Илиады» и «Одиссеи».

Гораций (65—8 до н. э.) — знаменитый римский поэт.

Грации — богини прекрасного и изящного *(греч. миф.)*.

Дамон — условное поэтическое имя.

Дафна — дочь речного бога, превращенная в лавр для спасения от преследования влюбленного в нее Аполлона *(греч. миф.)*; условное поэтическое имя.

Делия — условное поэтическое имя.

Диана — богиня луны и охоты *(римск. миф.)*.

Евротейский ток — река в Спарте.

Закоцитная сторона — потусторонний мир; Коцит — река в Аиде *(греч. миф.)*.

Зевс — главный бог древнегреческой мифологии, отец богов и людей (в римской мифологии — Юпитер).

Зефир — западный ветер, сын Эола и Авроры *(греч. миф.)*.

Зоил — нарицательное имя язвительного и мелочного критика.

Камены — музы *(римск. миф.)*.

Капитолий — крепость в древнем Риме.

Кастальский ручей — священный источник на горе Парнас; источник поэтического вдохновения *(греч. миф.)*.

Катон (234—149 до н. э.) — государственный деятель древнего Рима, ревниво оберегавший чистоту нравов.

Карфаген — столица древнего финикийского государства на африканском побережье Средиземного моря.

Катулл (около 87—55 до н. э.) — римский поэт-лирик.

Киприда — название Афродиты (от острова Кипр.).

Клеон — условное поэтическое имя.

Климена — нимфа-океанида *(греч. миф)*; условное поэтическое имя.

Ком — бог пиршеств *(греч. миф.)*.

Коринна — греческая поэтесса V века.

Корреджио (Корреджий) Антонио (1494—1534) — итальянский живописец.

Купидон — бог любви *(римск. миф.)*.

Лада — божество любви (*славян. миф.*).

Лаиса — популярное имя среди греческих гетер, ставшее нарицательным.

Левкад — один из греческих островов, со скалы которого, по преданию, поэтесса Сафо бросилась в море.

Леда — дочь царя Фестия; по древнегреческому мифу, Зевс стал ее возлюбленным, превратившись в лебедя.

Лель — сын Лады, покровитель любви и брака (*славян. миф.*)

Леонид — спартанский царь, погибший в 480 г. до н. э. при героической защите Фермопильского ущелья.

Лета (Летийские струи) — река забвения в подземном царстве (*греч. миф.*).

Лила, Лилета — условные поэтические имена.

Магдалина — раскаявшаяся блудница (*христ. миф.*).

Марс — бог войны (*римск. миф.*).

Медея — царевна Колхиды, полюбившая аргонавта Язона и отомстившая ему за измену убийством их детей (*греч. миф.*).

Мемфис — город в Египте.

Ментор — воспитатель Телемака, сына Одиссея («Одиссея» Гомера); впоследствии нарицательное имя наставника.

Меркурий — покровитель торговцев и путешественников, крылатый вестник богов (*римск. миф.*).

Менада — вакханка.

Мом — бог смеха (*римск. миф.*).

Музы — богини искусств и наук.

Мусикийский — музыкальный.

Назон — см. Овидий.

Наяды — нимфы водной стихии.

Нектар — напиток богов.

Овидий Назон (43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — римский поэт.

Оден (Один) — верховный бог скандинавской мифологии, бог войны.

Озирис — бог-солнце, исчезающий зимой и возрождающийся весной (*египет. миф.*).

Олимпийские игры — древнегреческие национальные празднества-состязания, происходившие через каждые пять лет.

Омир — см. Гомер.

Орфей — легендарный певец, сын музы Каллионы, укрощавший своим пением диких зверей (*греч. миф.*).

Паллада — одно из прозвищ Афины (см.).

Пальмира — город в Сирии, знаменитый своими величественными сооружениями; ныне не существует.

Парнас — священная гора в Греции; местопребывание Аполлона и муз.

Пафос — город на острове Кипре, центр культа Афродиты; «пафосские пилигримки» — искательницы любви.

Пегас — крылатый конь поэтов и муз *(греч. миф.)*.

Пенелопа — жена Одиссея («Одиссея» Гомера); синоним верной жены.

Перикл — афинский государственный деятель (ум. в 429 г. до н. э.), при котором Афины достигли высшей степени своего расцвета.

Перун — главное божество восточных славян, бог грома и молнии.

Пинд — горный хребет в Греции.

Плутарх — греч. философ и писатель (около 50—120 н. э.).

Прометей — герой греческого мифа, похитивший для людей небесный огонь; за это он был прикован богами к скале и орел выклевывал ему печень.

Сатурн — бог времени *(римск. миф.)*.

Сафо — знаменитая греческая поэтесса (VII—VI вв. до н. э.).

Скальд — название древних скандинавских поэтов-певцов.

Соломон — иудейский царь и мудрец.

Солон — знаменитый афинский законодатель (640—588 до н. э.).

Стикс (Стигейские воды) — река подземного царства *(греч. миф.)*.

Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский диктатор.

Тантал — мифический герой, похитивший у богов нектар и амбросию и за это осужденный на вечный голод в подземном мире *(греч. миф.)*.

Тартар — ад *(римск. миф.)*.

Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», написанный октавами («Октавы Тассовы»).

Темира — условное поэтическое имя.

Тибулл (55—19 до н. э.) — римский поэт, автор элегий.

Урания — 1) муза астрономии, 2) прозвище Афродиты *(греч. миф.)*.

Фаон — юноша, из-за любви к которому поэтесса Сафо бросилась, по преданию, в море.

Феб — см. Аполлон.

Фетида — морская нимфа, мать Ахиллеса *(греч. миф.)*.

Ф и д и й (500—430 до н. э.) — величайший греческий скульптор эпохи Перикла.

Ф и л и д а — условное поэтическое имя.

Ф и л о м е л а — здесь: соловей (*греч. миф.*).

Ф л а к к — см. Гораций.

Ф л о р а — богиня цветов и весны (*римск. миф.*).

Ф о р т у н а — богиня счастья и судьбы (*римск. миф.*).

Ф р е г е я — богиня любви (*сканд. миф.*).

Ф р и н а — афинская гетера IV в. до н. э.

Ф у к и д и д — древнегреческий историк V в. до н. э.

Х а р и т ы — см. Грации.

Х а о с — бесформенное первоначало всего сущего (*греч. миф.*).

Х л о я — условное поэтическое имя.

Ц и р ц е я — волшебница, обратившая в свиней спутников Одиссея (*греч. миф.*).

Ц и т е р а, Ц и т е р е я — остров любви (*греч. миф.*).

Ц и т е р с к и й б о г — Амур.

Ц и т е р с к и х и с т и н в о з в е с т и т е л ь — Амур.

Ц и ц е р о н (106—43 до н. э.) — знаменитый римский оратор.

Э л и з е й, Э л и з и й, Э л и з и й с к и е п о л я — загробное царство вечного блаженства (*греч. миф.*).

Э л л а д а — древнее названии Греции.

Э м п и р е й — высшая часть мира, обиталище богов (*греч. миф.*).

Э н е й — герой поэмы Виргилия «Энеида».

Э о л — бог ветров (*греч. миф.*).

Э п и к т е т — философ-стоик I в. н. э. С его именем связывается представление о мудреце, равнодушном к наслаждению и страданию.

Э п и к у р — греческий философ (341—270 до н. э.), учивший, что цель жизни — в наслаждениях, доставляемых человеку умом и возвышенными чувствами; в житейском смысле «эпикурейцами» называют людей, предающихся чувственным удовольствиям.

Э р е б, Э р е в — сын Хаоса, источник мрака (*греч. миф.*). У Гомера — мрачная подземная страна, переход из земного мира в потусторонний.

Э р о с, Э р о т — бог любви (*греч. миф.*).

Я п е т — отец Прометея, родоначальник людей (*греч. миф.*).

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения 1834—1844

СУМЕРКИ

ПРОЗА

ПИСЬМА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Евгений Абрамович Баратынский

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗА. ПИСЬМА

Редактор Н. А. Преснова
Оформление художника Е. А. Ганнушкина
Художественный редактор Е. М. Борисова
Технический редактор В. С. Пашкова

ИБ 493

Сдано в набор 20.10.82. Подписано к печати 10.05.83.
Формат 84X108 1/32. Бумага газетная.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 17,50.
Тираж 400 000 (2-й завод: 200 001 — 400 000).
Цена 1 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь», г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.
Заказ 20187

1 р. 40 к.